Валерий Шашин

ХОТЕЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ
два рассказа

Москва
Издательство «БПП»
2009

СОДЕРЖАНИЕ

С ДУШИ ВОРОТИТ3
ХОТЕЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ74

С ДУШИ ВОРОТИТ

Памяти Владислава Егорова

«За время этих рыночных преобразований я потерял не только профессию, но и, похоже, самого себя».

Так, почти по-газетному, думал пятидесятилетний Степан Тимофеевич Васильчиков, сидя на скамейке в ухожено-озеленённом дворе огромного п-образного сталинского дома, где уже больше четверти века проживал с женой и взрослой дочерью-студенткой в двухкомнатной квартире. О том, что вдобавок ко всему прочему он может потерять ещё и квартиру, — как место своего обитания, разумеется, — а вместе с ней и свою семью, Степан старался не думать. Но легко сказать, старался. Как раз именно об этом ему теперь только и думалось. Причиной тому являлся припаркованный напротив родного подъезда серебристый Фольксваген Пассат бывшего коллеги по работе Виктора Потрохова, в одночасье вдруг ставшего Степану и работодателем и начальником. Произошло это нежданно-негаданно как для самого Васильчикова, так и для самого Потрохова. Они и встретились-то совершенно случайно, буквально столкнувшись лбами на абсолютно не нужной им улице, на которой, по-хорошему, ни того, ни другого и быть бы не должно: один ошибочно вышел на остановку раньше, другой куда-то не туда завернул — неважно. И обрадованные этой почти невероятной по московским масштабам встречей, а ещё больше лицезрением друг

друга после столь долгого невиденья, да и, что там греха таить, практического забытья, горячо обнялись и расцеловались, хотя закадычными друзьями и даже приятелями никогда раньше не были.

— Ну, как ты?

— Да так! Кручусь помаленьку. А ты как?

— Да тоже!..

— Понятно. А здесь чего?

— Да вот!..

— И я куда-то не туда зарулил! — и, словно бы указывая, на чём зарулил, Потрохов небрежно повёл чуть звякнувшим ключами брелоком в сторону серебристого автомобиля, который с дружелюбной готовностью дважды ответно гугукнул, снимаясь с сигнализации.

— Фолксфаген Пассат! — от всей души восторгнулся Васильчиков, как если бы лучшей автомобильной марки не существовало на всём белом свете. — Твой?

— Ну а чей же? Мой, ядрёна корень! — с чувством сдержанной гордости буркнул Потрохов и озабоченно добавил. — Менять уж пора.

— И моя «четвёрка» посыпалась! — всё в том же восторженно-радостном тоне доложился Степан. — Стартёр полетел к чертям собачьим!

— Понятно! — Потрохов ещё раз коротко обозрел Васильчикова. — Так тебе куда нужно-то?

Нужно было домой, вернее, никуда, кроме дома, уже было не нужно, и Потрохов, тоже куда-то опоздавший и вследствие этого оказавшийся свободным, вызвался его подвезти и повёз, как Степан от того не отнекивался. Отнекивался же он по одной простой причине: ему тотчас же пришло в голову, что, распрощаться с

приятелем у двери подъезда и не пригласить к себе, будет непозволительным свинством. Но как приглашать, если в доме шаром покати? Отправив в Анталию дочку, — зимой она часто простужалась, и тёплое море, по заверению лечащего врача, было ей жизненно необходимо, — они сидели с женой по уши в долгах, оба безработные, почти отчаявшиеся. В холодильнике только и кисли что позавчерашние щи из квашеной капусты, да остатки колбасного паштета, тоже, кстати заметить, с каким-то кисловатым привкусом. Ну, имелось, конечно, неиссякаемое (прошлогоднее ещё) тёщино варенье, вишнёвое и смородиновое, байховый чай «Брунд Бонд» в пакетиках, хлеб, который ему, Степану, ещё надлежало закупить в палатке возле дома — и всё, никаких тебе больше деликатесов и разносолов! Даже денег ни на что иное, кроме как на покупку нарезного батона, у Степана Васильчикова в карманах не наличествовало, — «стыдоба, если вдуматься!» А Потрохов тем временем расспрашивал о жене и, узнав, что она, «бедолага безработная», сидит безвылазно дома, тотчас же загорелся желанием «повидать подружку свою Светульку-свистульку», которую «помнишь, — вдруг, почему-то перейдя на дурашливый гомикообразный тон, затянул он, — козел пра-а-тивный, ты у меня-аа отбил!». Васильчиков ничего подобного, убей, не помнил, но возражать не стал, — он уже давно заприметил, что одни и те же события могут трактоваться их непосредственными участниками с прямо противоположной диаметральностью, и ничьему мнению, порой даже самому несуразному, старался не удивляться. Да и не это, по правде сказать, неожиданное обвинение вкупе с не-

сколько покоробившим «козелом противным» его тогда озаботило: требовалось срочно предупредить жену — вот что! Она и прежде-то терпеть не могла, если её заставали врасплох, «в домашнем халатике», а теперь, когда болезненно стеснялась облезлых стен, старой мебели, одежды и, вообще, всего нищенского образа их нынешнего бытия, появление в доме любого постороннего человека, в особенности из прошлых времён, хотя никто уж тысячу лет к ним и не заглядывал, приводило её в паническое смятение и расстройство. Степан уже заранее представлял, какую «скандализу райс» она учинит ему после ухода незваного гостя, а гость, разумеется, нисколько о его тайных терзаниях не догадываясь, предвкушающе сладко вспоминал, каким необыкновенно вкусным печеньем собственноручного изготовления когда-то потчевала весь их отдел Светулька — «ни у кого такого не ел!».

«И не поешь, — угрюмо думал Васильчиков, глядя на летящую под капот дорогу, — печеньем нас до замужества баловали», — что, впрочем, по отношению к жене, действительно мастерице по части выпечки, да и прочей замысловатой кулинарии, было несправедливо, — баловали и после, и не только печеньем. Вслух же он сказал:

— Позвонить бы ей надо. Мобила у тебя, конечно, есть?

— А у тебя нет что ли? — неприятно удивился Потрохов. — Как же ты без мобилы живёшь?

— Я, вообще, непонятно как живу, — глухо отозвался Степан. — Вот и тебя, — извиняй, конечно, — угощать нечем. На кислых щах сидим!

Зло у него это вырвалось и жалко, сам почувствовал, но смягчать не стал, — правда есть правда, «чтоб ей повылазило!».

А Потрохов, после секундной заминки, преувеличенно бодро заметил:

— Кислые щи — это же замечательно!

— Что ты! — в унисон ему вскликнул Степан, в общем-то, против кислых щей никогда не возражавший, и вдруг, — рассказать кому, не поверят! — обмирая, ощутил: глаза-то, как пишут в бабских романах, предательски увлажняются, слезой его прошибает… — мать твою!.. — прошибло уже!

О-о-о!..

Напрягшись всем нутром, кожей, рожей, Степан, таясь от товарища, повернулся к дверце, чтобы, вроде как, приспустить стекло, и уже придавил, было, полированную кнопку автоматического стеклоподъёмника на кожаном подлокотнике, как тотчас же и вспомнил о работающем и свежо дующим прямо в его перекошеноскукоженную физиономию кондиционере, которым, кстати, и Потрохов, перед тем как тронуться, не преминул похвастаться: «с кондишеном, мол, поедем, знай наших!».

С мыслью «совсем плохой стал» Степан палец-то с кнопки тотчас отдёрнул, — не надавив даже — точно! — а стекло, тем не менее, поползло вниз. Это уловивший его судорожные тыканья Потрохов пришёл ему, дуралей, на помощь. И, хотя тотчас же обыграл свою опро-

метчивость, бормотнув вскользь: «без кондишена както лучше», — обоим стало неловко, досадно и стыдно. И пролегло между ними молчание, короткое, беглое, но и многозначительно глубокое, словно драматургическая пауза, из которой всё становится яснее ясного.

Да-а-а!..

Когда-то, когда всё в Степановой жизни было в полном порядке, они вместе работали в проектном институте, где создавались и усовершенствовались разного рода сельскохозяйственные агрегаты и механизмы. Потрохов и Светка трудились рядовыми специалистами, а Степан, руководил конструкторским отделом. Руководство Васильчикова тогда воспринималось, как закономерность, — ни Виктор Потрохов, хотя он был двумя годами старше, ни тем паче молодая совсем ещё Светка особой любви к избранной ими бог весть почему инженерной деятельности не питали, а Степан, напротив, прямо-таки одержим был мечтой сделать хлебоуборочный комбайн (да и не только комбайн) машиной двадцать первого века, тогда ещё только-только подступавшего. Мечта эта появилась накануне десятого класса, когда он, городской, саратовский парнишка, приехав на каникулы к деревенским родственникам, впервые увидал на необъятно золотистом пшеничном поле «живой» комбайн, почему-то показавшийся ему несуразным и грубым чудищем, который в силу этой чудовищной несуразности просто обязан был поминутно ломаться, — именно это и происходило в тот день с комбайном двоюродного брата. Раздосадованный бесконечными поломками и насмешками городского гостя двоюродный брат, белобрысый Вовка, ныне уже безна-

дёжно опухший от палёной водки и дуроломного самогона, запальчиво бросил:

— Взял бы и сделал лучше, чем языком-то базлать!

Невероятно, однако этот ничего не значащий вызов деревенского родственничка произвёл вдруг в душе Степана искомое действие, и на следующий год он, «ещё не нашедший себя гуманитарий», как ему до того мнилось, осознанно поступал в столичную Тимирязевку, на машиностроительный факультет, по окончанию которого, кстати сказать, с красным дипломом, был тотчас же приглашён в знаменитый всесоюзный институт, где уже вовсю разрабатывалось его первое, на ура прошедшее все комиссии и согласования, рационализаторское предложение. И бороздили бы, наверное, российские, а может, и мировые поля красавцы-комбайны, им, Васильчиковым со товарищами, сконструированные, если бы не грянула эта грёбанная, — по-другому и не скажешь, — перестройка, в результате которой Васильчикову и его товарищам, по первости даже и необузданно радующимся, что наконец-то долгожданный «процесс пошёл», была предоставлена невиданная и мало кем сразу прочувствованная свобода — тонуть или выплывать… при полном неумении плавать. Степан, разумеется, инстинктивно забарахтался, вроде бы и поплыл, да как-то всё не так и не туда, куда следовало бы, поскольку врождённый инстинкт, оказавшийся у него вестимо советским, — а каким же ещё? — повелевал ему в первую очередь спасать не собственные потроха и шкуру, а общее и заведомо полезное дело. На очередном суматошно бурном собрании его избрали председателем трудового коллектива, и волей-неволей

пришлось впрягаться в борьбу, победить в которой было практически невозможно, — институт уже был никому не нужен, ни родному министерству, ни родному государству. Он тонул, захлёбывался, взывал к спасению, но никто из тех, кто ещё совсем недавно горячо и неустанно призывал к перевыполнению производственных планов, грозно требовал новейших машин и агрегатов, «без которых, понимаешь, буквально задыхаются село и Родина», не только не спешил ему на помощь, но ещё и усиленно, и изощрённо топил и подтапливал, поскольку, — «вот они хвалёные рыночные отношения!» — требовалось в спешном порядке освобождать и прибирать к рукам помещения — единственную, в отличие от их мозгов и знаний, разумеется, несомненную материальную ценность. Степан бился до последнего и добился лишь того, что напрочь и бесповоротно перепортил отношения практически со всем вышестоящим начальством, «с которым, — наставительно поучал новоявленный Потрохов, — тебе закорешиться нужно было! И был бы ты сейчас, Степан Тимофеевич, в полном, как говорится, шоколаде!».

Потрохов, видимо, уже окончательно уяснивший, кто теперь из них ху есть ху, вёл свой видавший виды Фольксваген как полноправный хозяин жизни; левой полосы никому не уступал, перед крутыми тачками не дрейфил, напористо вклинивался в чужие ряды, успевая при этом ещё затейливо-беззлобным матерком покрывать нерасторопных, на его взгляд, недотёп водителей.

— Такие возможности у тебя были, ёшкин кот!

— Да какие там возможности!

— А то нет, что ли? Мне-то не рассказывай! — тормознув на светофоре, Потрохов отяжелевшим за разлучные годы корпусом повернулся к Васильчикову. — У кормушки стоял! Прямо рылом в неё упёртый!

— Что теперь вспоминать!

Степану, действительно, не хотелось говорить об упущенных возможностях, каковые, надо заметить, Потрохов, уволившийся, кстати, в разгар начавшихся баталий, «поскольку сразу просёк, что лично ему от этого пирога ничего обломится», сильно преувеличивал, во всяком случае, касательно Степана, к зданию, как, впрочем, и собственно сам институт, в лице всего трудового коллектива, отношения не имевшему; коллектив развалили и ведомственное здание пустили в арендный оборот, хотя, — тут Потрохов, безусловно, попадал в точку, — в пылу борьбы Степану на возможные лакомые куски намекали и неоднократно. Скорее всего, обмана ради намекали-то, или так, для проверки на элементарную вшивость, а если даже и на полном серьёзе, то всё одно Степан ни на одну секунду, ни тогда, ни позже, не сожалел, что не повёлся, как теперь выражаются, на вражеские посулы, — «по крайней мере, хоть совесть чиста». Однако и никакой особой гордости от в чистоте сохранённой совести Степан тоже не испытывал, — «это уж совсем дураком нужно быть!». Но Потрохов, похоже, именно к таким дуракам-лохам его теперь и причислял, что было Степану, в общем-то, довольно обидно, тем паче, что Потрохов все тогдашние события интерпретировал по-своему и, следовательно, не совсем или даже вовсе неверно. Вовлечённый им в зряшный разговор Степан невольно возражал, пробо-

вал растолковывать, как всё в натуральности происходило-то, но тотчас же обнаружил, что разубедить в чём-либо бывшего коллегу-подчинённого, на всё заимевшего своё безапелляционное и категорическое суждение — абсолютно безнадёжное занятие. Как и в случае со Светкой, якобы у него Степаном отбитой, Потрохов был непоколебимо уверен, что Васильчиков свои гигантские возможности на безбедно-сытое житьё бездарно упустил. И самое удивительное, Светка Потрохову в том нисколько не противоречила, а даже и поддакивала: «конечно, упустил — растяпа!» — хотя и знала, казалось бы, всё в тончайших деталях.

Степан, не далее как вчера, попытался даже парировать, шуточно, конечно:

— Но тебя-то я у Потрохова отбил! Значит, не совсем уж растяпа?

— Это я тебя, дура, отбила, — даже не рассмеялась Светка. — Неизвестно только зачем!

И действительно — отбила! Степан в те поры дружил с другой девушкой, Катей, и дело у них, как опять-таки пишут в романах, уже подвигалось к свадьбе. Катя тоже работала в проектном институте, архитектурном, правда, и милая была… Очень! А Светка — красивая. Степан, если честно, на таких и не заглядывался, то есть заглядывался, конечно, на таких все заглядываются, но применительно к себе даже и не помышлял. Не то, что б не по Стёпке шапка, а так как-то… по излишней застенчивости, что ли? А может, и не по излишней, а по самой что ни на есть разумной, ведь недаром говорится: «выбирай дерево по своему плечу». Впрочем, чего-чего, а сил у него тогда имелось в избытке. Поэтому, ко-

гда Светка его заарканила, — а заарканила она его влёт, на полном скаку, — он ничуть её явным чарам не сопротивлялся, даже головой не мотнул в раздумье: тотчас же порвал с Катей, — хватило, слава Богу, одного телефонного звонка («свинство, конечно, если вдуматься!»), — и радостно, и польщёно, как за нежданной, но давно желанной наградой, поворотил все свои постромки в Светкину сторону. Ему и впрямь тогда казалось, что Светка увлеклась им вполне заслуженно — как же: начальник отдела, без пяти минут главный инженер, а самое главное — выдающийся — причём, в ближайшей перспективе, заметьте! — конструктор-изобретатель!

Собственно говоря, так оно и было, и, как не крути, а выбрала его Светка именно за эти вот самые выдающиеся качества, — «за что же ещё бабе выбирать мужика, не за красивые же глазки?» — которые он, кстати заметить, никогда и никому не строил, хотя уродом, прямо скажем, себя не считал, впрочем, как и писанным красавцом тоже. Нормальным он мужиком был, нормальным! И Светку он ничем таким не охмурял и безоблачно радужной жизнью не заманивал. Об этом и не говорилось даже, хотя бы уж потому, что в обеспеченности жизни даже и малейших сомнений не возникало — работай только, не ленись, и всё будет! И было! Квартиру с рождением дочери дали, машиной и мебелями там разными потихоньку обзавелись, и до последнего, можно сказать, дня, до перестройки этой грёбанной, зарабатывал он куда как прилично, одних только прогрессивок, премий, гонораров рационализаторских огребал сколько. Тогда-то, — Степан с тоской огля-

дел двор, — конечно, хорошим был. Конечно! И Потрохов, небось, тогда ему только завидовал. Да и кто бы не позавидовал — и сам, как говорится, молодец, и жена раскрасавица, и дочка умница! А теперь?

Чёрт его знает, внешне жизнь, вроде бы, и менялась к лучшему: одно только строительство по Москве грохотало такое, что можно было решить — Россия вступила в эру невиданного благоденствия. Что и говорить, новые хозяева жизни желали располагаться комфортно, эстетно, и ничего удивительного, что от их всё возрастающих потребностей и запросов кое-что перепадало и ненавистной им окружающей среде. Вот и московские дворы, казалось бы, уже окончательно запущенные, неухоженные, в мгновение ока преобразились, озеленились газонами, заблагоухали клумбами, запестрили разукрашенными детскими площадками — «любо-дорого посмотреть, если вдуматься», — и только в Степановой жизни безнадёга сменялась на безнадёгу, и конца этому, прямо сказать, осточертевшему, безнадёжному процессу покамест что-то никак не предвиделось, несмотря на бравурные телевизионные заверения в обратном.

«Может, действительно, кирпич пойдёт?»

Кирпичная тема возникла сразу же после того, как он поведал Потрохову, привязавшемуся «что да как» с расспросами, о последней своей непрухе с авторемонтным бизнесом. Бизнесом, конечно, их затеянное на пару с приятелем дело можно было назвать с большой натяжкой, но… тем не менее, на жизнь зарабатывали и, если теперь вдуматься, очень даже и неплохо. А всего-то изловчились, что открыли на пару автослесарку и не

где-нибудь, а прямо в своём гаражном кооперативе, где и у того и у другого имелись соседствующие кирпичные боксы с ремонтными ямами, верстаками и прочим необходимым для ремонта инструментарием. Гараж, правда, принадлежал тестю, но Степан им давно уже пользовался как своим, и тесть не возражал, — одной семьёй почти жили-то, какие могут быть счёты, лишь бы на пользу!

А польза была и несомненная. Степана и Василия гаражные мужики с давних времён держали за мастеровых и знающих, ну и, разумеется, в порядочности и добросовестности их нисколько не сомневались. К тому же запрашивали они по-божески, не хапничали, не наглели, трудились на совесть, и потому вполне закономерно, что народ к ним вскорости повалил, — «кисло ли в компот в своём родном гараже ремонтироваться?»

Степан, чёрт знает отчего, живописал свою гаражную историю в какой-то ухарско-приблатнённой, совершенно несвойственной ему манере, которая вроде как должна была показать Потрохову, что и он, Степан, и напарник его Василий — ребята, в общем-то, не промах.

«Гараж большой, клиентов валом! Пашем с Василием как папы карлы. И хорошо! Всё пучком у нас, в натуре, всё нормально! О расширении подумываем, соседний бокс выкупать налаживаемся. Расти хотим! Развиваться! И что ты думаешь? Как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Бздынь! И прихлопнули нас. Как крышку портсигара. Ага! Автосервис под боком отгрохали! Рядом с кооперативом-то нашим. Фирменный, блин, — что ты! — нашей шарашке — не

чета. Да нам бы и по фигу вся эта хрень ихняя — клиенты нас знают, довольны, ну и всяко подешевле у нас… Только автосервису этому, Витя, наша кипучая деятельность — как серпом по одному месту!».

— Понятное дело! — хмыкнул Потрохов.

— Понятное, да? — переспросил Степан. — Да ни хрена оно, Витя, тебе не понятное! Да мы бы этих тузиков из автосервиса, — путая слова и брызжа слюной заорал он, — как грелку порвали бы! Кто бы они не были! Только, знаешь, кто они, тузики-грелки эти? Кто их крышует, знаешь? А-а-а! То-то и оно, что ни в жизнь не догадаешься. Налоговая инспекция, блин, их крышует! Понял? Налоговая!

— Да-а-а! — протянул, вроде как озадаченный, а, скорее всего, просто из вежливости Потрохов.

— Вот тебе и «да»!

И вновь установилось молчание — вакуум, в котором что ни скажи, всё будет лишнее и пустое.

— А против налоговой, сам знаешь, не попрёшь! — подытожил всё-таки Степан и вновь почувствовал — наворачиваются на глаза слёзы-то, неудержимые, чёрт возьми, злые и бессильные.

— Ничего! — Потрохов гулко ударил ладонями о баранку, перехватился покрепче, поерзал, усаживаясь поплотнее, и рванул со светофора первым. — Кирпич продавать будем, кирпич!

— Какой кирпич? — сквозь спазматический ком в горле удивился Васильчиков.

— Голландский!

Не сбавляя хода, Потрохов перегнулся плечом и рукой за сидение, пошарил где-то на полике и вручил

встревожено следящему за оставленной на произвол судьбы дорогой Степану, увесистый полиэтиленовый свёрток, — «разворачивай!» — оказавшийся и впрямь вишнёво-фиолетовым кирпичом, ненашинским даже и с виду.

Из последующих расспросов выходило, что Потрохов заделался эксклюзивным дилером некой голландской кирпичной компании, пожелавшей с его помощью выйти на немереные просторы строительного российского рынка.

— Денег дают? — осторожно коснулся Степан самого главного вопроса.

— Дают, но не шибко. Самим раскручиваться надо, самим! — и Потрохов опять хлопнул по баранке.

— Самим — тяжело! — возразил Степан и уточнил. — Я имею в виду, без денег. Реклама ведь потребуется.

— Само собой! — Потрохов тормознул у роскошного супермаркета, в который Степан даже не подумал бы заглядывать. — Пошли! Светке гостинцев купим.

— Да не надо ей ничего! — рьяно запротестовал Степан, взволновавшийся от непредвиденных затрат приятеля. — Чайку попьём с вареньем… Варенье есть! Прошлогоднее, правда, — и робко напомнил: — Вот позвонить бы — хорошо.

— Звони! — Потрохов из-под тёмно-синей фирменной майки рванул с поясного ремня кожаный серый чехольчик с телефоном. — А, может, так нагрянем? — вручая трубку, предложил вдруг он. — Как снег на голову! — и, видимо, вообразив себя снежным комом на Светкиной голове, мечтательно заулыбался.

Но сюрпризничать подобным образом Степан наотрез отказался:

— Не поймёт — женщина! — Он разглядывал в своей руке незнакомую ему трубку. — А как тут у тебя звонить-то? Не умею! — и протянул аппарат хозяину.

— Инженер, блин! — засмеялся товарищ. — Говори номер!

— Да номер старый…

Обратно мобильник Степан не получил. Соединившись со Светкой, Потрохов и разговаривал с ней сам, решив устроить сюрприз по телефону.

— Эт ктой-то там? — дурашливо закричал он в трубку. — Светлана Петровна? Очень приятно! А это Виктор Николаевич! А? Какой-такой Виктор Николаевич? Да всё тот самый же! Что ли, у вас их много Викторов-то Николаевичей? Алё! Не можешь вспомнить? Ну, ты, подруга, даёшь! Витькин Потрох который!

С телефоном в руке и на ухе Потрохов, широко и блаженно улыбаясь, шагал в магазин, Степан поспешал следом. Связь была на редкость устойчивой. Степан отчётливо слышал вибрирующий голосок жены и, хотя всех слов не разбирал, по интонации безошибочно догадывался, что Светка ужасно взволновалась, и волновался за неё сам.

— Узнала! — скашивая глаза, радостно докладывал Виктор Степану, знаком указывая, чтобы тот прихватывал погрузочную коляску, и кричал в трубку, шагая дальше. — Сейчас к тебе в гости нагрянем. Готовься! — Прикрывая аппарат ладошкой, заговорщицки хихикал Степану. — Испугалась! Спрашивает: сколько вас? — В

трубку. — Да двое нас, двое! Я, да муж твой Степан Тимофеевич! Потом, может, ещё Разин с Ермаком подгребут, — вовсю вышучивался Витькин Потрох, которого и впрямь, по аналогии с «гадским потрохом», иногда так прозывали в отделе, и вновь докладывал Степану. — Испугалась! — И в трубку: — Ты трусиха, что ли, стала, а, Светулька-свистулька?».

Так, общаясь с обоими Васильчиковыми, Потрохов переходил от полки к полке, от лотка к лотку, брал свободной рукой банки, коробочки, упаковки, щурясь, разглядывал этикетки и, или ставил обратно, или бросал в корзинку, иногда вопросительными глазами — «возьмём, не возьмём?» — испрашивая зачем-то и согласие Степана.

Степан лишь растерянно пожимал плечами, вымученно улыбался да толкал коляску на резиновом ходу вслед за приятелем. Ему казалось, он слышал, как, набравшись духу, жена его, Светка, страдальчески предупреждает, что угощать гостя нечем. Во всяком случае, этот «Гадский потрох» орал развязно на весь суперфирменный супермаркет:

— Заказывай лучше, что надо, кроме шоколада! — и ещё громче удивлялся. — Как так ничего не надо?! А Степан говорит, надо!

— Не надо, я говорю, не надо! — приглушено взвывал Степан сбоку. — Чайку попьём и!..

— На кислых щах, говорит, сидите!

— Зачем?! — гневно-умоляющим криком заходился Степан и обрывался в просительный полушёпот. — Про щи-то зачем, Витя? Не нужно! — и только что не

добавлял вслух: «Она же убьёт меня теперь! — думая — Стыдобища-то какая!».

— Молчи! — грозно командовал вошедший в начальственный раж Потрохов. — И ты, Светка-конфетка, тоже молчи! И говори: что надо, только без выкрутасов! Маслинок-оливок взять? Так! Какие предпочитаешь: с косточками или без? Берём! А как насчёт рыбки красненькой? Форельки или сёмушки. Опять не надо? Блин! Почему не надо-то? Берём! — И, опуская очередной выбранный продукт в корзинку, выговаривал Степану: «Не надо, говорит, слышишь?» — В трубку. — «А что дама пить будет?» — Степану, приглашая посмеяться: «Какая дама, спрашивает», — и в опять трубку, — Да ты наша дама, ты! — И поражался ответу: «Как ты не дама? А кто же?» — И продолжал настаивать: «Нет, уж ты давай заказывай: сухонького или сладенького? Я-то за рулём, мне запрещается, а вы себе можете позволить… — Степану: «Ты чего будешь? Водочку, конечно. Путинку, поди, али «Гжелку»? — Алё?!

Пытка эта была прекращена Светкой, положившей конец бесконечному потроховскому трёпу. Гость-хозяин закрепил на ремне мобильник, окинул трезвым взглядом заполненную корзинку, прикинул вслух:

— Хватит, что ли?

— Да неужели не хватит! — взмолился Степан. — И так уж набрали!.. Куда ж?..

— Молчи!

Двинулись к кассам.

— Или ещё что надо? — внезапно остановился Потрохов. — Говори!

— Не надо, Витя! — Степан чуть не налетел на него коляской. — Куда же ещё-то? А хлеб у дома купим.

— Почему это у дома? Давай здесь возьмём!

— У нас там хороший!

— А здесь плохой, что ли? Ёшкин кот! А про торт-то с конфетами забыли!

Поставив расстроенного Степана в короткую очередь, Потрохов отправился за тортом и хлебом.

«Ну и шагай! — огрызнулся про себя Степан. — По крайней мере, хоть на хлебе сэкономлю!», — и от этого совсем уж постыдного соображения как-то обречённо махнул рукой, — «да гори оно всё синим пламенем!».

Очередь между тем продвигалась, и нужно было решать, становиться под обсчёт кассирши или ретироваться. Степан, разумеется, предпочёл бы последнее, но в узкий предкассовый проход уже вкатывала нагруженную доверху коляску — «откуда только у людей такие деньжищи берутся?» — толстая, в рыжих крапинках на обнажённых мясистых плечах бабёха, за ней — её рыжеусый муженёк, тоже не слабых размеров дядечка с упаковкой импортного пива на вмятом её тяжестью бочковыкаченном животе. Пропустить эту «сладкую парочку» впёред — было бы самое оно, глядишь, и Потрохов, пока их обслуживали, подоспел бы со своим тортом и конфетами, — однако путь к разумному отступлению был отрезан, бабёха уже выкладывала на чёрную транспортёрную ленту покупки, и Степан, переживая, что Потрохова, «паразита», нигде не видно — мешали заставленные товарами стеллажи — тоже принялся за разгрузку своей тележки.

Не так уж и много всего и оказалось в корзинке-то, — «больше шуму», — думал Степан, не обращая внимания на нехорошесть своих мыслей, поскольку гад этот Потрохов так и не объявлялся, а выложенные банки и упаковки с коротким дёрганием — «лента заедает, что ли?» — уже вовсю плыли к невозмутимой кассирше с высокомерно приподнятым носиком и ярко-пунцовыми, припухлыми губами. Ловко отделив специальной пластмассовой планкой товары Степана от товаров рыжей очередницы, кассирша приступила к обсчёту.

А Потрохов, «сволочь», не появлялся!

— Всё? — последний, пискнувший перед сканером продукт, банка с маслинами, был отброшен в ложбинку с уже обсчитанными покупками и растереблённой стопкой бело-красных — «неужели бесплатных?» — фирменных пакетов, кассовый аппарат деловито заскрежетал, подводя окончательное «итого»:

— Четыреста сорок шесть рублей сорок восемь копеек.

— Ага! — Степан, от волнения нисколько не поражаясь оглашённой сумме, поспешно кивнул и, приподнявшись на цыпочки, закрутил головой:

«Где же он, паразит? Витя?!»

— Социальная карта москвича есть? — спрашивала между тем кассирша.

— Нет! И денег — тоже нету! — Степан с виноватым отчаяньем повернулся к кассирше. — У товарища! А он где-то там… запропастился! — И Степан опять встал на цыпочки, старательно выглядывая своего запропас-

тившегося где-то там, за стеллажами, Потрохова. — У него деньги-то!

Этого можно было и не говорить, из-за угла наконец-то вывернулся Потрохов.

— Вот он! Идёт! — поспешил обрадовать Степан кассиршу и с горячим облегчением энергично замахал приятелю: — Витя! Скорее! — чего, конечно, тоже делать не следовало.

Потрохов продираться сквозь очередь не стал, неспешно зашёл сбоку, передал Степану торт, булки чёрного и белого хлеба, коробочку конфет «Рафаэло», и слегка напрягся «фейсом», когда кассирша вновь огласила всю требуемую и значительно подросшую с четырёхсот сколько-то там рублей сумму.

«Конечно, много!» — ужаснулся за Потрохова Степан, чувствуя и себя с головой повинным в растрате: — «Это, называется, в гости пригласил товарища. Стыдоба, если вдуматься!»

— Степан, прими-ка! — Потрохов тянул ему тысячную купюру, которую тот поспешно передал кассирше:

— Пожалуйста!..

— Тридцать семь копеек не найдёте? — спросила кассирша, почему-то адресуясь к Потрохову.

— Откуда ж взять такие бабки? — угрюмо и нелицеприятно ответствовал Потрохов, всем видом и тоном показывая неуместность обращённого к нему вопроса, и Степан, прежде чем кассирша перевела взгляд на него, заторопился: «я найду, найду!» — и полез за своим потрёпанным кошельком, в котором лишь в кармашке для мелочи слабенько позвенькивали монетки.

Стараясь не обнажать впалую и пустую внутренность бумажного отделения и, стыдясь, как он полагал, прикованных к нему глаз очередников и продавщицы, Степан неуклюжими пальцами торопливо отбирал нужную мелочь, и все терпеливо, в снисходительном молчании его ждали, — «кому же и отсчитывать копейки, как не ему?».

«А что делать? — успевал помысливать бывший инженер-конструктор Васильчиков. — Так бы подумали, что вообще ничего не имею!»

Но это, конечно, было слабое утешение, да не утешение и вовсе.

Зато Светка, хитрая лисица, в грязь лицом не ударила. Принаряженная и причепуренная, она встретила их при полном параде. Сияя неподдельной радостью, она счастливо ахнула, благодарно прижала к груди преподнесённые гостем белые орхидеи, от покупки которых Степан отговорить Виктора так и не смог, глубоко вдохнула их аромат, показывая, какой он замечательный, и, раскинув руки, заключила Витькина Потроха в свои неизвестно уж какие — жаркие ли? страстные ли? — в общем, только одной ей ведомые объятья, — и это при том-то, что о Витюшке Потрохове они все эти годы не вспоминали напрочь. Но, может, именно поэтому — «не пробуждай воспоминаний» — жена с веселым щебетом, ахами и вскриками вынимала из пакетов закупленную гостем лакомую и непривычную для четы Васильчиковых провизию. Кухонный стол и без того уже накрытый ею неведомо откуда взявшимися закусками, украсился поставленными в вазу цветами и извлекае-

мыми из красно-белого (бесплатного, кстати) пакета деликатесами.

Проголодавшийся Степан, глотая невольно набегавшую слюну, норовил помочь жене, от его помощи наотрез отказывающейся, пытался поддерживать беседу, неудержимо льющуюся и без его участия, молчал, переводя грустно улыбающиеся глаза то на беспечно хохочущую супругу, то на вольготно расположившегося на его хозяйском (лучшем) месте довольного собой и встречей приятеля, и философски думал, что вот ведь хотя это свидание устроил он, Степан, запросто могший и не пригласить Потрохова, радуются эти двое теперь без него.

Он не то что бы переживал свою ненужность, а просто чувствовал её, ощущал лёгким нытьём какого-то неведомого, но уже давным-давно чутко проявленного в нём органа, подлинное название которому было бы, наверное, столь всеобъемлюще длинным и неудобопроизносимым, что все предпочитали именовать его коротко — «нервы», однако же и во множественном числе. В последнее время эти самые нервы давали о себе знать всё чаще и чаще, как если бы становились всё истончённей и восприимчивей. Они прорывалась порой и наружно, то в форме иступлённого вскрика на жену или дочь, то вдруг подступающими к глазам слезами, как, вот, в машине Потрохова, — уже, стало быть, не только дома, но и на чужих людях. Самое главное, невозможно было предугадать, когда и как эти самые дурацкие нервы проявятся; иной раз хватало сущего пустяка, замечания жены или дочери, вовсе не желавших его так больно задеть, обидеть, или эпизода како-

го-нибудь старого, тысячу раз виденного-перевиденного фильма, которому и сопереживать-то так, со слезами на глазах, было смешно и нелепо. Но чаще всего нервы, слава Богу, щемили молча, внутри себя, внешне никак не проявляясь, что даже давало жене повод обзывать Степана бесчувственным чурбаном и бессердечным валенком.

Она бы, наверное, и сейчас, прознай только, что он спокойно высиживает на скамейке, пока они там с Потроховым неизвестно чем занимаются — «одни-то в пустой квартире!» — объяснила бы это его спокойное высиживание свойственной ему от природы бесчувственностью и, может, на этот раз, попала бы в самую точку, потому как Степан и взаправду ровным счётом ничего, что, вроде бы, полагается в такого рода моментах мужику и мужу ощущать и чувствовать, не ощущал и не чувствовал — ни малейшей ревности, ни обиды, ни злости, ровным счётом ничего, кроме какой-то оглушительной опустошённости в нём, в этот, возможно, роковой для его жизни чёрный час, не пребывало и не присутствовало. Шевелились, конечно, словно бы сами по себе, некие грустно-едкие воспоминания, складывались в безотчётные умопостроения, но из всего этого только и выходило, что ломиться ему сейчас домой никак не следует, хотя бы уже и по одному тому, что тотчас же станет ясно, какой он такой надёжный работник, коли с вверенного ему рабочего поста ушёл на целых полтора часа раньше, не в семь, как полагалось, а в половине шестого, причём, ушёл, — «и это уж вообще ни в какие ворота не лезло», — без какого-либо начальственного ведома-спроса, то есть абсолютно и непозволительно

самочинно. Можно было, разумеется, сослаться на внезапную головную боль и тошнотворную слабость, которые, в общем-то, и сорвали Степана с рабочего места, но, во-первых, голова перестала болеть уже в метро, а слабость… да и слабости-то практически уже не оставалось, выветрилась вся на свежем воздухе. Главное же, главное, Степан, так или иначе, но обязан был Потрохова, начальничка своего дорогого, известить, уведомить, на то ему и была придана старая мобильная потроховская трубка, включённая, кстати, тоже на его же, потроховские деньги, чтобы, — «и это дураку понятно!» — между ним и хозяином осуществлялась в экстренных случаях необходимая связь. А он этой специально установленной связью не воспользовался и лучше кого-либо другого знал, почему. Просто… просто не хотелось ему звонить Потрохову — вот и всё объяснение! А не хотелось звонить потому, что за каких-то пятнадцать-двадцать минут до этого внезапного головного приступа они с Потроховым опять разругались. Подобные стычки, похоже, входили у них в обыкновение, но свой негативный след, во всяком случае, в Степане, они, безусловно, оставляли. Именно из-за этого следа, с ещё слишком свежими отпечатками напрасной, «конечно же, напрасной», ругани, он и не стал звонить Потрохову. Да, откровенно говоря, и не видел в том особой нужды, ведь, — «рассказать кому, не поверят!» — он уже четвёртый день кряду продавал всего-навсего один-единственный кирпич. Тот самый, вишнёво-фиолетовый, голландский! Показанный Потроховым ещё в машине. Теперь же он, этот заморский кирпич, освобождённый от изорвавшейся полиэтиленовой обёртки, лежал на столе-

прилавке их торговой точки, павильоне, который Потрохов, по его же словам, «за бешенные бабки» (голландской, правда, фирмы), арендовал в огромном торгово-выставочном комплексе строительных материалов. Все другие торговые павильоны были до отказа набиты всевозможными образцами предлагаемой продукции, у них же с Потроховым, кроме этого самого кирпича, лежали всё на том же столе-прилавке два разноцветных буклета и один фирменный каталог, — этим экспонатами их так называемая экспозиция и сполна исчерпывалась. Правда, над входом в павильон висел ещё на скотчевых прозрачных лентах собственноручно скроенный Степаном из чертёжного ватмана транспарант, на котором красно-синей гуашью было выведено: «Элитный голландский кирпич!»

«Простенько и со вкусом!», — сказал Потрохов, чьему вдохновенному творчеству этот рекламный слоган и принадлежал.

«Ещё бы приписать, — не удержался Степан, — «в единственном экземпляре». Для полноты, так сказать, информации».

«Не остри! — добродушно отозвался Потрохов. — А рисуй лучше, что тебе велено!»

«Вот именно! — поддержала его Светка. — Остряк-самоучка нашёлся!»

Пока Степан рисовал в комнате «что велено», они на кухне пили чай, чему-то весело и беззаботно смеялись.

Потрохову, видно, понравилось бывать у Васильчиковых, и он зачастил к ним чуть ли не каждый день. Со свойственной ему фамильярной бесцеремонностью освоился он у них вполне свободно, а, пожалуй, даже и чересчур нагловато: наглухо застолбил Степаново место, один раз даже и согнав его, — вроде как шуточно, однако же, и согнав, — с насиженного стула, занятого, впрочем, Степаном, «не претендующем на место гостя», по рассеянности, — облюбовал свою чашку и свою тарелку, — ему, как и Остапу Бендеру, понравилась с голубой каёмочкой, — обжил, можно сказать, и дочкин диван, однажды, к тайному неудовольствию Светки, оставшись на нём на ночёвку.

Объявлялся же он, как правило, за пять минут до визита, и всегда с гостинцами. Не слушая Степановых возражений, — Светка в это время лихорадочно наводила марафет в спальне, — выкладывал подарки на стол; скоропортящееся или требующее немедленного охлаждения, как, например, мороженное, до которого был большим охотником, определял самостоятельно в холодильник, да и, вообще, мало чем стеснял себя, позволяя даже заказывать Светке любимые кушанья, — хотя бы всё то же хвалимое им печенье, которое Светка для него таки и выпекла.

Васильчиковы чудачества и своевольства Витькина Потроха беззлобно терпели. Светка, правда, всякий раз выговаривала ему, чтоб без звонка приходить не смел, на что всякий раз получала один и тот же ответ:

— А я и не прихожу. Звоню же!

— Да когда ты звонишь? — вскипала Светка. — За пять минут до прихода? Даже себя в порядок привести не успеваю!

— Ты у нас, Светик, всегда в полном порядке! — приобнимал её за плечи Потрохов и оглядывался на Степана. — Скажи, Степан?

Степану оставалось только поддакивать.

Он понимал, что давным-давно уж разведённому Потрохову, не ладившему, кстати сказать, и со своим единственным сыном, вроде бы как с алкогольными проблемами, нравится выступать у них в роли даже не начальника, нет, а скорее друга-покровителя семьи, да и Светка это наверняка понимала.

«Нам его сам Бог послал!» — сказала она после первой же с ним встречи.

Степану её «нам» почему-то невольно запомнилось. Не то что бы резануло, а так как-то… выделилось и отметилось — «нам»! Хотя, если семье, так по-другому и не скажешь. Но, вообще-то, что ни говори, а с появлением Потрохова они друг от друга отдалились ещё больше. И без того уже прежней близости почти не оставалось, а теперь… теперь Светка вроде как затаилась в ожидании чего-то, но затаилась не вместе со Степаном, а вроде как в одиночку. Одна. Без него.

Или показалось?

Степану вдруг подумалось, что он так и не удосужился расспросить жену про её отношения с Потроховым, а ведь мог бы вполне и поинтересоваться, ну, так, разумеется, как бы за между прочим: «Что, мол, про меж вас тогда было-то? Любовь?».

Забыл!

Хотя, что изменилось бы, ответь ему жена заносчиво, допустим следующим:

«Любовь! А ты что думал?»

«Да я-то ничего не думал», — наверное, сказал бы Степан, и это было бы чистой правдой, — не думал ведь.

И никогда не ревновал. Ему это даже и в голову никогда не приходило, может, оттого, что и в себе он ни малейшего поползновения к развлечениям на стороне не наблюдал.

«Зачем? — искренне удивлялся он, когда в какой-нибудь мужской компании заходил разговор на тему желаемого побочного удовольствия. — Если свой самовар под боком?!».

Он даже Потрохову два дня назад ответил так же, когда тот, — дело происходило в всё в том же Фольксвагене, — привлёк его внимание к какой-то пышнотелой, уличной девахе .

— Хотел бы такую? А? Хотел бы? — допытывался Потрохов и, — для пущего утверждения, что ли? — ухватил Степана за коленку и даже затрепал её из стороны в сторону. — Хотел бы?

Тогда-то Степан и ответил:

— Зачем? У меня дома своё добро имеется.

— Да? — удивился Потрохов. — Хорошо тебе! — и руку со Степановой коленки, слава Богу, убрал.

Вообще-то, в нём много чего Степану открылось ранее неведанного. Во-первых, Потрохов оказался никудышным руководителем — сумбурный, заполошный, неорганизованный. Всё делалось им в последнюю минуту, на скоростях и, в целом, совсем не так, как следо-

вало бы. В результате, сразу ничего не состыковывалось, запаздывало, обрывалось, обрастало немыслимыми дополнительными сложностями, каковых могло бы и не быть вовсе, как, например, в случае всё с теми же застрявшими невесть где образцами кирпичей, отправленных голландцами с какой-то окольной оказией, предложенной, разумеется, самим Потроховым, и по каким-то ему только одному ведомым (да и ведомым ли?) соображениям и расчётам. При этом Потрохов был страшно недоверчив и подозрителен. Во всём (и с недоставкой кирпичей тоже) усматривал либо специальный подвох, либо заговор, причём, как правило, без малейших на то оснований, то есть в полном смысле слова на пустом месте. Однако переубедить его в надуманности подозрений было невозможно, на чём-то втемяшимся ему однажды в голову он стоял непоколебимо. Васильчиков, памятуя о непреложном правиле: «ты — начальник, я — дурак!» — всячески старался удерживаться от споров с бывшим своим сотрудником, но, откровенно говоря, в случае с Потроховым ему это день ото дня удавалось всё меньше и меньше. Отношения их, естественно, накалялись, доходило до откровенного ора и взаимных оскорблений, и Светка, которой Степан поначалу всё рассказывал, ему справедливо пеняла, что Потрохов, помимо того, что теперь его непосредственный начальник, и раньше-то, и всегда был тем, кого в детстве, во всех дворах, называли жилой, и потому спорить с ним себе дороже, — морду, как в детстве, не набьёшь и, стало быть, точно уж ничего не докажешь.

— Да ведь он дело загубит, — выходил из себя Васильчиков. — Дело! Я и так и не понимаю, как ему голландцы доверились? Он же блефует. Вся его фирма — он да я! Причём, я — даже и не в фирме, я ещё — вообще никто!

— Вот именно! — соглашалась Светка. — Поэтому и не фыркай. Его тесто, пусть он его и месит!

Дело и впрямь было Потрохова, но чем глубже Васильчиков в него вникал, тем больше понимал: замеситься оно может и очень даже неплохо. Но, разумеется, не с таким подходом как у его теперешнего начальника.

Взять хотя бы всё те же образчики блуждающих по Европе («которую, кстати, Потрохов, по его словам, знал, как свои пять пальцев») кирпичей. Лишь совершенно случайно Васильчиков выяснил их количество — больше полутора тысячи штук! — и на более чем закономерный вопрос: «Куда же мы их, Витя, денем? — не получил ни одного сколь-нибудь вразумительного ответа, кроме, разве, раздражительного отмахивания:

«Да денем куда-нибудь!»

«Куда?! Надо же заранее об этом подумать!»

«Да хоть в твой гараж!» — чуть подумавши, брякнул Потрохов и довольный удачно пришедшей мыслью испытующе уставился на Степана, мол:

«Что скажешь? Сам напросился».

Да! Пусть бы оно и так — напросился! Но ведь не столкнись они тогда случайно на улице, никакого подручного гаража у Потрохова не было бы и в помине, не говоря уж о том, что и Степан отдавать свой бокс под кирпичи, вроде бы, совсем не собирался.

Однако упоминать о подобного рода очевидных несуразицах Потрохову было бесполезно.

Всё, буквально всё, делалось им, по мнению присмотревшегося к нему Васильчикова, через одно место. Но делалось! Это было самое поразительное. Кирпичом — Васильчиков узнал об этом из прямых источников, возил на подпись бумаги — всерьёз интересовалась крупная строительно-инвестиционная компания, собиравшаяся из этого голландского кирпича строить ни много, ни мало как голландскую же деревню, — уже начиналась рекультивация закупленной под неё в ближайшем Подмосковье земли. Для начала дела это была неслыханная удача, такой мощнейший трамплин, о котором можно мечтать только во сне — и непрерывные многолетние заказы, и реклама, всё, как говориться, в одном флаконе. И этот несбыточный сон прямиком валился в Потроховские руки! А он, вместо того, чтоб целиком и полностью сосредоточиться на этой первостепенной важности задаче, отвлекался на, чёрт знает какую, невразумительную мелочёвку, типа распродажи библиотеки какого-то там почившего в бозе дальнего родственника, отнимавшей у него, Потрохова, уйму времени. И подобных дел у него было в невпроворот.

«Кручусь, блин, с утра! — жаловался он, как забубённый гуляка, Светке и веско уточнял, выставляя указательный палец. — Но не до позднего вечера, а до поздней ночи!»

И это соответствовало действительности, — у одних только Васильчиковых Потрохов засиживался за полночь, хотя, по его же словам, ему «завтра с ранья» нужно было куда-то там спешно гнать.

Куда?

Сие частенько оставалось тайной, но Степан готов был о заклад биться, что гонка того не стоила. И он в этом поминутно убеждался.

Васильчиков, пожалуй, ещё не встречал в своей жизни человека, который, постоянно спеша и вечно опаздывая, столько бы времени транжирил абсолютно зря.

Скажем, Потрохов часами мог искать какую-нибудь квитанцию, о которой и вспомнил-то совершенно случайно, вдруг, и которая именно сейчас ему была не нужна вовсе. Однако найти её

именно сейчас, немедля, становилось для него словно бы делом наиважнейшего принципа. Или, что ближе к истине, как уже подозревал Васильчиков, болезненной патологии.

«Я же её здесь положил. Блин! Куда же она задевалась-то? Ну, вообще! Здесь же лежала!» — с этой фразой, даже интонационно одинаково повторяемой, Потрохов способен был буквально часами перекладывать и перетряхивать все попадающееся ему под руку вещи и предметы. Взгляд у него при этом был блуждающий, отсутствующий и, прямо скажем, вполне маразматический.

Бардак же в его полуторокомнатной квартире стоял беспримерный.

Когда Степан впервые вошёл к нему, то, несмотря на предупреждение не пугаться, впал и в оцепенение, и в оторопь, — он и представить себе не мог, что Потро-

хов, да и вообще кто-либо, может жить вот так вот. Длинный гостиный стол, за которым Потрохов, как «правильно воспитанный человек», завтракал, обедал и ужинал, был завален самыми разнообразными вещами и предметами, к столу, тем паче обеденному, ни малейшего отношения не имевшими. Так, например, среди валявшихся там как попало книг, журналов, полиэтиленовых пакетов, жестяных и стеклянных банок (пустых и наполненных), бумажных и деревянных иконок, свечей, в том числе и автомобильных, шариковых ручек, карандашей, записных книжек, очков и очешников, лекарств и салфеток, рулонов туалетной бумаги, связок ключей от машины и от квартиры, гаечных ключей, отвёрток и свёрл, рекламных буклетов, сувенирных значков, початых и непочатых бутылок вина, пачек с сигаретами, хотя Потрохов не курил, образцами кафельной плитки, пакетиков с чаем, электродрели, густо посыпанной побелочной и кирпичной пылью, машинки для стрижки волос, бритвенного помазка, устаревшей мобильной трубки, включенной теперь специально для связи с Васильчиковым, и устройства для её подзарядки, тоже теперь находящегося у Степана, сложенного, но не зачехленного зонта, — чехол валялся где-то отдельно, — рассыпанной мелочи и мелких бумажных купюр, нередко и долларовых, кошелька, квитанций, чеков и множества всего иного, чего не упомнишь и не перечислишь, мог совершенно спокойно лежать вывернутый наизнанку носок, в то время как парный ему пребывал в спальне, под никогда, видимо, не застилавшейся кроватью, со скомканными вжамульку простынями. Местом же для принятия пищи нелюбителю кухонного

застолья служил то ли выгороженный, то ли стеснённый со всех трёх сторон наседающими вышеперечисленными и не перечисленными предметами пятачок, обозначенный пластмассовой подставкой для тарелки и приборов.

Такой же пятачок был тотчас же создан и для Степана, причём — поразительно просто; Потрохов, следя за тем, чтобы с краёв стола ничего не посыпалось, просто взял да и двинул обеими пятернями все лежащие на краю предметы, — они поползли гуртом, ещё больше скучились посерёдке, и пространство для гостевой чашки и блюдца образовалось.

«Сидай, Стёпа, сидай!»

За спиной Степана оказались книжные полки, украшенные фотографиями и всякими сувенирными безделушками, довольно-таки на вид занятными, а перед глазами — диван, сплошь заваленный кучами белья и одежды, — с правой стороны, выстиранной чистой, как пояснил Потрохов, а с левой, наоборот, приготовленной к стирке грязной.

Помимо всего этого, в небольшой квартире имелось ещё много чего всякого: этажерки, тумбочки, напольные часы, гравюры, кубки, литые и мраморные статуэтки, фарфоровые и жестяные чаши, почерневшие, битые иконы, резные братины, нуждавшиеся, как, впрочем, и всё остальное, в серьёзной реставрации и ремонте. Всё это и лежало, и стояло, и валялось на полу, по которому бесшумно скользили свалявшиеся серомохнатые комочки пыли, вспугнутые передвижениями Потрохова, занятого приготовлениями к чаю.

Степан чувствовал себя как в антикварной лавке, или, точнее, как в лавке старьёвщика, в которой всё хочется рассмотреть, потрогать, ощупать.

«Интересно?» — чутко уловил его настроение Потрохов.

«Не то слово!»

«Вот так вот! — довольный произведённым эффектом ухмыльнулся Потрохов. — Бардак, конечно! — уже с кухни весело кричал он: — А когда убираться-то? Некогда же, старичок! Это тебе хорошо — с двумя девками жить! А мы, — Потрохов входил с чайником в комнату, — холостёж! У нас всё по-простому!»

«Оно, так, конечно», думал про себя Степан, проникнутый состраданием к холостяцкому быту приятеля.

Он всегда считал, что женщинам работы в доме хватает, поэтому из того давнего уже декретного отпуска Светку в институт не вернул. Она особо и не настаивала, тем паче, что вскоре наладились рожать ещё, вдогонку, братика или сестрёнку, чтоб Ольгушка-лягушка не выросла эгоисткой. Рассчитывали, конечно, на сынишку, но беременность что-то не задалась, Светка выкинула, а потом долго приходила в норму. Потом береглась, потом… В общем, не судьба у них вышла с пополнением семейства. При всём при том жили, грех жаловаться, хорошо, и Светка, хоть и столичная штучка, оказалась женщиной серьёзной, без выкрутасов и глупостей, от которых семейная жизнь, как глянешь вокруг, такая пустая и глупая мука. Степану же упрекнуть жену было не в чем, — и уважала, и любила, пока… пока не грянула эта вот самая долбанная перестройка, а с нею и невиданная прежде Васильчиковыми нужда. Голодать, конечно,

не голодали, но уровень жизни против прежнего снизился несопоставимо, а иногда, если честно признаться, подпирало уж совсем под самое не могу. А нужда, она, известное дело, кого хочешь из себя выведет, тем более — женщину. Да и мужик, что не говори, семью должным образом не обеспечивающий, настоящим мужиком считаться не может, и в доме, конечно, авторитета всяко не удержит, как не пыжься.

Это Степан понимал, да что там понимал — всем нутром своим исстрадавшимся за эти годы чувствовал. Чувствовал, а ничего переменить не мог. Ну, не нужен он стал этому обществу, не нужен! Как лишний человек из рассказов Чехова или какого-то там другого классика, которые все эти гримасы и ужасы капитализма уже давным-давно описали и разоблачили. А ведь вернулись-то к ним, к ужасам и гримасам, и — откуда вернулись? Ведь, если вдуматься, из светлого будущего вернулись-то, которое, в прошлое превратясь, ещё сильнее только высветлилось.

«Да разве же мы плохо жили? — недоумевал втуне Степан. — Конечно, случались, ошибки и перегибы, идиотизма партийного, что и говорить, хватало под самую завязку, но, в общем-то и целом, хорошего ведь было больше, несравнимо больше! Это сейчас всё про кровь, да про чудовищные преступления толкуют, — а как же без крови-то, как? — ведь революция, война, слом и установление новой жизни, на крови установление-то, да! — тут и спорить нечего, — но потом-то, потом, когда всё утихло и наладилось, когда, к примеру, эти самые застойные годы наступили, разве плохо жилось, разве хуже, чем теперь, когда колбаса-то есть, да

только, кто ж её ест? Тот, кто хапанул больше? Кто теперь в олигархах ходит или в их приспешниках? Для кого ж тогда перестройка-то затевалась, с какой целью? Чтобы народ лучше жил, или как? И где он теперь этот народ? Вымирает! По миллиону в год вымирает, а то и больше!».

Степан разволновался, даже сердце, вроде как всегда неслышное, неожиданно дало о себе знать, забилось, застучало бойчее обычного. Он приложил ладонь к груди, прислушался — там, за мясисто-рёберной перегородкой, ощутимо гулко туктукало. Равномерно, правда, но и бойко, так, словно бы на свой шестой этаж бегом взобрался.

«На лифте поеду!» — как о чём-то вроде бы ему запрещённом подумал Степан и тихо подивился нелепости этой решительной мысли: «Разумеется, на лифте, на чём же ещё, не пёхом же подниматься, верно?» — и вдруг представил себя подкрадывающимся к своей входной двери и ухом припадающего к её меж косяковой щели, сквозь которую почти всегда слышался телевизор, выключаемый Светкой разве что на ночь.

«Если будет тихо, — подумал Степан, а в следующее мгновение всполошено дёрнулся и торопливо прикрылся специально развёрнутой, припасённой для того газетой. Но из подъезда вышел не Потрохов, а сосед с третьего этажа, с которым они здоровались и даже, случалось, беседовали на общие, так сказать, житейско-бытейские темы. Сейчас это было бы совсем некстати, и, провожая соседа сторожким из-за газеты взглядом, Степан подумал, что хорошо, что успел закрыться, а то ещё, чего доброго, привязался бы с расспросами — что

да как? — он был любителем повыспрашивать, хотя о себе практически ничего не рассказывал.

«Странные всё же попадаются люди», — наладился, было, осудить соседа Степан, но тотчас же и урезонил себя — уж чья бы корова мычала! Ведь, если вдуматься, — словно третьему постороннему лицу продолжал он втолковывать себе, — то положение твоё не просто странное, но и на редкость глупое. Глупее не придумаешь. Сидишь тут, понимаешь, как последний дурак! Другой бы, на твоём месте, уже дверь с петель рвал бы!».

«А если, — вопросил уже сам себя Степан, — если, вломлюсь сейчас к ним с перекошенной рожей, — «всех разнесу!» — а они сидят себе на кухне и чаёк из чашечек спокойно попивают? Вот и получится, что сам ты, Стёпа не только дурак распоследний, но ещё и полный остолоп и придурок».

Хва-а-а-тит!

И так уже себя проявил.

Зачем-то в тот первый вечер повёл Потрохова в спальную комнату, где у него был выгорожен свой, так сказать, конструкторский угол, с чертёжной доской, компьютером… Комбайн свой недоделанный показывать вздумал.

— Так ты что, работаешь, что ли? — поразился Потрохов. — В одиночку комбайн лепишь?

— Леплю. Понемножку! Мысли-то приходят.

Потрохов глазам своим не верил, разглядывал чертежи, эскизы, но, как вскоре выяснилось, совсем не Степановы идеи и разработки его взволновали, а сама нелепость затеи кустаря-одиночки, изобретателя несча-

стного. Да он и не скрывал этого удивления, напротив, даже Светку из кухни призвал настойчиво, подивись, мол, на муженька своего идиота — в одиночку комбайн изобретает! — как будто бы она ничего этого не видела.

— Да я уж говорила ему, — оправдывалась Светка. — Люди деньги зарабатывают, а он дурью мается. — И накинулась на Степана как-то по-новому, зло, яростно, как на безмозглого идиота. — Кому твои комбайны нужны, кому?!

Вот ведь, казалось бы, невероятная глупость, уже в самой постановке вопроса, а по жизни выходило, жена права — не нужны комбайны, хоть ты тресни, не нужны! Да разве только комбайны? Ведь какие нужнейшие производства закрыли! И словечко волшебное этим вопиющим безобразиям подобрали — нерентабельно! Произнесут его с умным видом и, как приговор подпишут, всё — кончено дело! — был завод, и не стало завода! Дешевле, видите ли, заграницей покупать. Оно, может, и дешевле, но почему? Почему?! Если всё можно делать своими руками?! Этого Степан никак уразуметь не мог. Цены мировые, интеграция!? А по боку их с такими интеграциями! Зачем нам, русским людям, на них равняться? Мы — сами по себе! Чего у нас нет, без того прожить легко можно, а что действительно для жизни необходимо, этого на Руси-матушке, слава Богу, ещё предостаточно. Вон, сколько уже веков её нещадно грабят, а всё не оскудела земля русская, есть ещё и порох в пороховницах и люди его хранящие! Только кликнете! Не зовёте? Не призываете? Стало быть, не нужны вам эти люди. Люди не нужны, а не комбайны!

Это горькое открытие Степан собственной, можно сказать, шкурой прочувствовал. Куда только не пытался пристроиться — не берут! Не нужен! Особенно — после того как сорок пять перевалило. Хоть в гроб ложись да помирай заживо!

«Да я бы и помер, — вдруг согласно подумал он. — Чем так-то тянуть».

Отдаться этой крамольной мысли не успел — из соседнего, сплошь отделанного под серый мрамор подъезда вышел коренастый, коротко остриженный паренёк в чёрной брючно-рубашечной униформе с маленькими жёлтыми буквами на груди и крупными на спине — «ОХРАНА». В руке он держал радиотелефон с поблёскивающей на закатном солнце антенной. Привычно набычившись, он осмотрел исподлобья двор, в том числе задержал взгляд, прощупал им, так сказать, одиноко сидящего на скамейке Степана. Степан не что бы заёрзал под этим взглядом, но некое беспокойство и неудобство всё-таки ощутил. И это в своём-то дворе! С ума сойти, если вдуматься.

Паренёк этот охранял жильца с третьего этажа, как говорили, какого-то нефтяного магната. Степан его пару раз мельком видел — молодой ещё человек с бледно-белым лицом и с вьющимися, доходящими чуть ли не до плеч чёрными волосами. На олигарха он, откровенно говоря, никак не смахивал, — ему бы стихи писать, — но Бог бы с ним, если и олигарх, на здоровье, хотя, конечно, всё-таки не безынтересно с каких-таких, как выражается Потрохов, хренов он в миллионеры-то вдруг выскочил в свои, прямо скажем, невеликие годы. Папаша помог? Или мамаша? А тем кто — партийная касса? Или

— общак воровской? Какая-либо информация на этот счёт, разумеется, отсутствовала, но и без неё было ясно, что никаких, так сказать, правовых преимуществ он ни перед Степаном, ни перед всеми прочими обитателями двора не имеет и иметь не может — такой же жилец, как и все, равный из равных, кто бы там за ним не стоял. Тут, казалось бы, ни сомневаться, ни спорить незачем, а вот, поди ж ты, при всей при той демократической равности и по его, надо думать, личному приказу всех их теперь, проходивших мимо его серо-мраморного подъезда с портиками и колоннами, обшныривали пристальными взглядами его личные охранники, словно передвигались они не по своему родному двору, а по лагерной зоне. По сути дела, — пришло в голову Степану, — их человеческое достоинство постоянно оскорбляли подозрением, видя в них, чёрт знает, кого — потенциальных преступников, что ли, террористов? А по какому такому, позвольте спросить, праву?

На этот риторический вопрос Степан, естественно, ни от кого не ожидал ответа, хотя подобных вопросов скопилось у него уже нимало, и ответ: «жизнь такая», — его нисколечко не удовлетворял, потому как за этим неизбежно вставал другой вопрос, едва ли не самый главный:

«А почему, чёрт подери, она такая-то? Почему?!»

«А потому, — наблюдая за охранником, думал Степан, — что вместо того, чтобы идти домой, я сижу вот на этой скамейке и рассуждаю сам с собою об оскорблённом человеческом достоинстве, тогда как Витюшка Потрохов, бывший мой подчинённый и нынешний начальничек, возможно, вовсю уже гужуется с моей женой!»

И опять, при этой, в общем-то, постоянно ноющей в нём как гнилой зуб гнусной мысли он не испытал практически никакой отчётливой ревности. Противно стало? Да. Противно. Но не так уж и противно, коли продолжал сидеть и терпеливо выжидать, пока Потрохов, закончив свои дела — хотя какие у него могли быть дела со Светкой?! — выйдет из подъезда и умчится на своём серебристом Фольксвагене.

«Главное, чтоб не заметил!»

Степан, примеряясь к выходу Потрохова, закрылся развёрнутой во всю ширь газетой, а, выглянув из-за неё, увидал, что и охранник, от которого, видимо, не ускользнул этот резкий тренировочный жест, просверливает его настороженным взглядом.

«Газету я читаю, газету!» — чуть было не заорал ему Степан и тут же подумал, что вздумай сейчас охранник подойти и потребовать документы, он наверняка их предъявит… хотя бы и для того, чтоб поскорей отделаться.

Охранник меж тем, что-то буркнув в рацию, направился к стояночной цепи, снял её с крючка и опустил на асфальт.

Стало быть, подъезжали хозяева.

Действительно, из-под арки вывернул огромный серо-чёрный джип. Приблизившись, он важной, защищённой толстыми никелированными дугами, мордой въехал в освобождённое пространство. Водительская дверца приоткрылась. Остановившийся поодаль охранник, видимо, получив приказ, направился к автоматически открывшемуся багажнику, откуда принялся доставать и нанизывать на пальцы фирменные пакеты «Азбу-

ки вкуса», едва ли не самого дорогого, как узнал всё от того же Потрохова Степан, супермаркета столицы.

Вышедшая из-за руля худая, если не сказать, тощая блондинка с голым загорелым животом под короткой белой майкой и в специально надорванных белесых джинсах в обтяжку разговаривала по мобильному телефону, невесомо застрявшему в частоколе её непомерно длинных блескуче серебристых на солнце ногтей. При этом она крутилась на месте, но ни на что и ни на кого не обращала ни малейшего внимания. Смотрела в небо, в даль, в никуда, только не людей, как будто для неё и несуществующих вовсе.

С ворохом пакетов в двух растопыренных руках охранник поджидал крутящуюся на месте хозяйку. Поджидала её, придерживая распахнутую входную дверь ногой, и пожилая консьержка в приспущенных на нос, словно бы для пущей зоркости, очках.

Наконец, не прерывая разговора, девица, через шаг останавливаясь, двинулась к подъезду.

Консьержка откровенно льстиво заулыбалась и ещё сильнее, хотя было уже и некуда, оттиснула дверь, вжавшись в неё всем подобострастно вытянувшимся бесформенным телом.

Охранник с пакетами шествовал побоку, как бы прикрывая девицу от возможной опасности.

Какой?!

Вот они скрылись, стальная полированная дверь захлопнулась, и Степан не то что бы облегчённо, а передохнул. Чёрт его знает! Возможно, он чего-то и не догонял, как выражался всё тот же Потрохов, но какой такой смысл был во всём происходящем? Если бы на де-

вицу эту кто-то охотился, разве охранник с пакетами в двух руках (да и без пакетов) помешал бы? И вообще, какого чёрта этому миллионеру и всему его семейству селиться в этом далеко не элитном доме? Отделывать за свой счёт подъезд, лестничные клетки? Правда, лишь по свой третий этаж и не ступенькой выше отделывать-то, но всё равно: сажать консьержек, содержать охрану, вешать под окно видеокамеру и прожектор, ярко освещающий ночью стояночное место, где среди Джипов и Мерседесов новоиспечённого олигарха стоит игрушечный жёлто-синий электромобиль будущего наследника, двухлетнего мальчугана, толком ещё и не понимающего как этим папиным чудом-подарком распоряжаться, управлять. Ведь есть же дома получше! Гораздо лучше! Специально для миллионеров. Элитные! И Светка тогда бы, проходя мимо этого индивидуально отделанного подъезда, всякий раз не изводилась и не стонала бы оттого, что этот чёртов магнат поселился не за их крашенной красно-коричневой охрой дверью.

Светка!

Она вначале долго не хотела понимать, что их устойчиво налаженная жизнь окончательно пошатнулась и рухнула. Да и как понимать? Степан и сам отчётливо не сознавал этого — вчера был нужен, незаменим, а сегодня… Даже ещё и сегодня Степану до конца не верилось, что взлёт его остался далеко позади и что посадка уже давно свершилась. Причём — ни куда-нибудь посадили, а, как теперь выражаются, опустили… в топкое, вязкое болото, засасывающее всё глубже и глубже. Надо было на что-то опереться, выскочить, выбраться, хотя

бы для того, чтоб отдышаться, осмотреться, но в том-то и беда, что все нащупываемые им кочки-опоры оказывались ложными, уходили из-под ног раньше, чем он успевал на них укрепиться, перевести дух. Возврата в профессию, особенно после проигранной им борьбы с Министерством, для него не существовало, да и в самой-то профессии-то потребности не наблюдалось — «не нужны стране инженеры, не нужны!» — а ни в какой другой сфере деятельности он применения себе не находил, вернее, нашёл бы, если бы предложили что-нибудь дельное, интересное. Но не предлагали, не предлагали! А семью, как известно, кормить надо каждый день. Вот когда он почувствовал, что Москва для него — чужой город. Знакомств элементарных и тех хронически не хватало, а без знакомств, без влиятельных друзей, без нужных связей… «кому ты нужен, кроме маме?» — как говорят в Одессе. Пришлось хвататься за что попало. Где он только и на чём не подвизался — и в торговле, и в рекламе, и, чёрт знает, ещё в чём, и все попусту, все дельцы-хозяева или разорялись, или прекращали деятельность по каким-то иным причинам. Если бы не машина, не частный извоз, к которому, так или иначе, а приходилось прибегать постоянно, вряд ли они смогли бы сводить концы с концами.

Светка также пустилась во все тяжкие. Дочку сдала под присмотр родителей, а сама закрутилась по полной программе — кем только не была, даже челночить одно время пробовала!

Да что говорить — всем досталось!

Потрохова тоже покрутило нимало, но он, как говорил о себе, был из Ванек-встанек — где брякнули, там и встал.

В голландский кирпич он верил, — «пойдёт, никуда не денется!»

В подробности не вдавался: когда пойдёт, каким образом, и будет ли к тому причастен Васильчиков? — в тот первый день так и осталось невыясненным.

Выдавая Степана с головой, Потрохов в тот первый день потребовал, прежде всего, щей из кислой капусты и, невзирая на слабые протесты застыдившейся хозяйки, поел их с пребольшим аппетитом и добавкой, затем отведал немного закусок и совсем уж прибалдел от «мяса по-испански» скорого Светкиного приготовления. После этого Витюшка заметно осоловел. Глаза его стали слипаться, превратились в щёлочки, он никнул и засыпал прямо за столом. Васильчиковы, не зная, что с таким гостем делать, предложили дочкин диван, которым Потрохов — «на пяток минут, а то, и правда, что-то засыпаю», — не преминул воспользоваться. Проснувшись через полчаса бодрым и весёлым, попил всласть чайку с тортиком и конфетами «Рафаэло», и после очередного звонка, а звонили ему несколько раз кряду, заторопился куда-то ехать.

На пороге, прощаясь, Светка зачем-то спросила:

— Девушка-то у тебя имеется?

— А як же! — удивился он.

— Молодая?

— Да не совсем… Двадцать четыре года уже.

— Гад! — Светка почти вытолкнула Потрохова за порог. — С ума сошёл?

— А ты против, чтолива? А? Почему?

Пока подходил лифт, они, блудливо улыбаясь, пикировались насчёт гада и девушки, и только уж из лифтовой кабины Потрохов зычно крикнул меж смыкающихся дверей:

— Степан, готовься!

К чему? Ни о чём дельном и слова не было сказано.

Но объявился он по телефону на следующий день и тотчас же и подъехал — Степану предлагалась работа. Пока, так сказать, без официального оформления, на подхвате, за сто баксов в неделю, а дальше, по мере раскрутки и так далее…

Для семьи Васильчиковых предложение Потрохова было равносильно выходу из долговой ямы. Тогда-то Светка и сказала:

«Нам его сам Бог послал!»

Степан, откровенно говоря, так не думал. Сто баксов в неделю — конечно, было очень даже неплохо, но сколько таких недель насчитается? Однако сомнения сомнениями, а предложение он принял с горячей благодарностью и с полной решимостью выложиться до конца. Потрохов чётко обозначил первостепенную задачу — вначале требовалось подготовиться к выставке «Дом, дача, офис», оформить в торгово-выставочном комплексе недооформленное Потроховым место, оборудовать его под вот-вот прибывающие из Голландии образцы кирпичей, выставиться с ними, и уж потом, по результатам, так сказать проведённого маркетинга, определять и корректировать дальнейшую раскрутку предприятия.

Намерение представлялось в высшей степени разумным. Действительно, участие в выставке с такой тематикой сразу же могло выявить интерес и спрос потенциальных потребителей. Однако же почти тотчас выяснилось, что недооформленный Потроховым павильон именно по причине недооформленности отдан кому-то другому. Взамен предлагали новый, на взгляд Васильчикова, ничуть не худший, но Потрохову он активно не нравился, главным образом потому, что был отобран первый, им недооформленный. Пока Потрохов выяснял отношения с «беспредельщиками» организаторами, требуя возврата прежнего павильона, прошёл день, после чего дооформляться требовалось уже срочно, иначе пролетали с выставкой окончательно. Возмущённый до глубины души Потрохов, к тому же и разругавшийся с торгово-выставочной бухгалтерией, переложил задачу дооформления на Васильчикова, который с ней справился, несмотря на то, что одной платёжной бумаги по забывчивости Потрохова в наличии не оказалось и пришлось добывать и доставлять её в авральном порядке.

На другой день Потрохов потащил Степана в «Икею», где предполагал купить подходящий для экспозиции кирпичей стеллаж.

Подходящий стеллаж они увидели почти сразу, но после его придирчивого разглядывания и ощупывания Потрохов ещё часа три бродил по огромному магазину, ничего не ища, но почти всё столь же придирчиво рассматривая и ощупывая. При этом занятии он что-то глубокомысленно урчал себе под нос, взвешивал, прикидывал, рассчитывал, вскидывая поверх очков то вопро-

сительные, то недоумевающие глаза, но что он вопрошал и чему удивлялся — изнывшему от томительного хождения Степану так и осталось неведомым.

Осмотренный стеллаж они (начальник решил вдруг не торопиться) в тот день не купили, зато на обратном пути Потрохов завёз Степана к себе «на фатеру», где Степан получил ещё одно потрясение, гораздо даже большее, чем от мучительного пребывания в «Икее».

По дороге домой он невольно думал, что если бы партнёры-голландцы хоть одним глазом увидали бы житьё Потрохова, то они в одну секунду прекратили бы с ним всякое совместное дело, — «ведь это ж с ума сойти, если вдуматься!».

А ещё через день стало известно, что со стеллажом они не поторопились правильно, — кирпичи к открытию выставки не прибудут и, следовательно, стеллаж не понадобится.

«А выставка без кирпичей зачем?»

Этот вопрос остался Степаном незаданным; павильон был оформлен, деньги, которых его семье хватило бы на год безбедной жизни, были уже сполна уплачены, поэтому ничего иного не оставалось, как проводить намеченный маркетинг при одном кирпиче, одном каталоге и двух буклетах, которыми их экспозиция пока и исчерпывалась. Двадцатичетырёхлетняя пассия Потрохова, связью с которой он похвалялся перед Светкой и которая должна была вроде бы представлять на выставке совместное голландско-российское предприятие, участвовать в акции подобного рода отказалась, — «я ж не дура с одним кирпичом тут торчать!».

Таким образом, «торчащим тут дураком» сделался Степан Васильчиков.

Что и говорить, чувствовал он себя при одном кирпиче не очень уютно. На него и внимание-то обращали только из-за бросающейся в глаза пустоты их так называемого представительского павильона да ещё из-за вывешенного дурацкого транспаранта «Элитный голландский кирпич».

«А где кирпич?» — интересовались некоторые только потому, что никакого кирпича вблизи видно не было.

«В Голландии! — подмывало ответить Степана, но он добросовестно поднимался, брал каталог и предлагал обозреть продукцию голландской кирпичной фабрики по картинкам.

Впрочем, и обращающие внимание люди оказывались большей частью просто-напросто убивающими время ротозеями, которым не только кирпич, но и вообще ничего дельного было не нужно.

Но перед одним, вроде бы и реально потенциальным покупателем, Степан опозорился. Не смог ответить на его вполне профессиональные вопросы, ибо знаний, почёрпнутых им из голландского каталога, перевести который Потрохов так и не удосужился, Васильчикову явно не хватило.

«Ведь я же ничего не знаю о кирпиче!» — взывал Степан к Потрохову.

«А чего о нём знать-то? — отвечал тот. — Ну, керамический, облицовочный. Морозоустойчивый ещё. — И советовал: — Ты каталог-то показывай, не стесняйся! Только в руки не давай, а то уведут!»

К счастью, или к несчастью их точкой почти не интересовались; видя пустоту, люди проходили мимо, разумно полагая, что образцы товаров сюда ещё не завезены и, стало быть, смотреть не на что.

Потрохов заскакивал на павильон ежедневно, до обеда и к вечеру, живо интересовался:

«Ну как? Идёт дело?»

«Вовсю!» — отвечал Степан.

«Ничего», — успокаивал Потрохов. — Пойдёт!»

«Да я и не сомневаюсь!» — заверял начальника Степан. — Сегодня уже двое интересовались».

«Чем?»

«Что мы продаём. Уж, говорят, не воздух ли?

«А ты бы этим говорунам по башке», — мрачно советовал Потрохов.

«Кирпичом? — вопрошал Васильчиков. — Жалко! Экспонат же единственный!»

Но сегодня они повздорили не из-за кирпича. Из-за политики. А точнее, из-за этой грёбанной жизни. Потрохов приехал с какой-то презентации, саммита или брифинга, где ему, наверняка попавшему туда случайно, удалось «накоротко общнуться с одним офигительно влиятельным человеком», «прорабом перестройки», которого Васильчиков от всей души ненавидел. Потрохов же стал его всячески превозносить, нахваливать, говоря, дескать, что такого талантливого менеджера Россия ещё не знала, и тут Васильчиков, конечно же, не утерпел и сказал всё, что он об этом и ему подобных талантливых менеджерах думает. Думал же он о них плохо и, если и считал их талантливыми, то лишь в качестве проходимцев и жуликов, задача у которых одна — на-

хапать в свои карманы побольше и развалить Россию поскорее!

Потрохов заносчиво возразил, что о задачах этого человека Степану судить не стоит, поскольку из своего затхлого болота он много чего не видит и не понимает, да и, вообще, если он, Степан, свой счастливый шанс по жизни бездарно упустил, то не нужно в этом обвинять других, а нужно работать и, — на следующем слове Потрохов выразительно постучал двумя пальцами по своей голове, — генерировать коммерческие идеи. Тогда всё будет о`кей и в шоколаде.

— Какие идеи? — спросил Степан, у которого всё внутри зашлось гневным холодом. — Как кирпичом спекулировать? Ты посмотри вокруг, — закричал он злым, отчаянным и шипящим от накала голосом. — Ведь почти все тут, — он повёл рукой по торгово-выставочному комплексу, — голландский кирпич продают! Ведь своего, отечественного, почти ничего и нету!

— Вот и хорошо, что нету! — отрезал Потрохов. — По крайней мере, дерьма меньше! — И, не давая Степану возразить, скомандовал. — Хватит базарить — торгуй лучше!

И ушёл.

Спрашивается: мог ли Степан после этого ему звонить: «голова, мол, что-то разболелась?»

К Степану, с явным желанием обратиться, плавно приближалась женщина, похожая, — он это почему-то сразу отметил, — на оперную певицу, полную, кругло-лицую и как-то по-театральному пестро и мято одетую.

Поэтому он даже и не удивился, когда она гортанно мягко спросила:

— Вы не возражаете, если я вам спою?

Степан всё-таки немного обеспокоился, потому что, несмотря на удивительно верную свою догадку о профессиональной принадлежности этой женщины, всё-таки странной была эта её нежданная просьба. Он ещё не успел найтись с ответом, а женщина уже начала исполнение:

«Степь да степь кругом, путь далёк лежит»…

Голос был грудной, переливчатый, взаправду оперный, и легко набирал силу.

«Вот как сейчас Потрохов выйдет!», — испугался Степан и решился перебить:

— Вы, простите, чего хотели бы? Денег?

— Если вам нетрудно, — тотчас же оборвала пение певица.

— Много у меня нет, — Степан вытащил кошелёк, из него — десятку. — Устроит?

— Премного вам благодарна, — певица с достоинством поклонилась и удалилась также плавно, как и подошла.

Степан рукой вытер взмокревший лоб.

«Это до чего же народ довели? Оперные певицы по дворам арии распевают. А в переходах? А проституток развелось сколько? Да не развелось, а развели! Сволочи! Менеджеры поганые!»

«Значит, на панель скоро с дочкой пойдём», — вспомнил он вдруг Светкину шутку, когда сообщил ей о возможном закрытии их с Василием авторемонтной артели.

Светка опять сидела без работы, вернее, в безрезультатных поисках её. Куда ни попадя устраиваться не хотелось, а ничего подходящего не находилось. Какая-то подруга, которую Степан никогда и в глаза не видывал, звала её в штукатуры-плиточницы, — «с ума сойти, если вдуматься!» — и Светка, — она бывала порой жутко настырной, — согласилась попробовать, как Степан её от того не отговаривал. Конечно же, из этой пробы ничего не получилось и получиться не могло, и, слава Богу, иначе Степан себе бы этого никогда не простил, — «его жена и плитку кладёт в чужих ванных, — куда же ещё больше-то?».

Но именно в этот момент на них и наехали из налоговой и, туши свет, хоть караул кричи благим матом. Он и кричал, правда, беззвучно, и Светка кричала, молчаливыми слезами только, когда вычищала из-под до неузнаваемости обкорнанных, обломанных за три дня работы ногтей набившуюся цементную смесь.

«Да разве можно тебе на стройке? — ублажал её, тоже чуть не плача, Степан. — Это же другая закваска нужна! Куда ж тебе!»

«А может, ничего, втянусь?» — всхлипывала жена.

Даже слово это, «втянусь», Степана до боли резанувшее, было из другого, не из Светкиного лексикона.

«Не втянешься! — резко отрезал он и добавил. — Костьми лягу, а не позволю!»

Добавил-то он хорошо, по делу, и Светка благодарно улыбнулась ему сквозь слёзы, как всё равно спасибо сказала, хотя и не сказала ничего, — что тут скажешь? — когда яснее ясного, что не для этой жизни она родилась…

Она раздалась, конечно, обабилась, но под марафетом смотрелась ещё хоть куда, — неизвестно, правда, куда, если никуда не выходили! — прямо кустодиевкая или рубенская женщина, на которых мужики, говорят, особенно падки. Н-да… И дочка выросла. Внешне пошла не в мать, как, наверное, следовало бы, а в него… не красавица, значит, но и не дурнушка, не какая-нибудь там кукла крашенная, у которой лишь тряпки да развлечения на уме. Учиться хотя бы старается, учится… Хотя… ничто женское ей, конечно, не чуждо. Вот и простуды эти бесконечные отчего? Оттого, что за модой гонится, с голым животом по морозам шастает, с головой непокрытой… А ведь это же страшная дурость — в России без тёплого белья зимой ходить — не Турция же, не Африка! А в результате в долги непомерные влезли из-за Анталии этой, — отдавать-то теперь как?

Нет, что ни говори, а потроховский кирпич — единственная надежда. В конце концов, с Потроховым ладить можно — кто без недостатков? — а этот хоть и баламутный, но свой и отходчивый, зла, вроде бы, не держит, так что…

Степан вдруг воочию увидел, как Потрохов пристаёт к Светке. Это на его глазах уже однажды происходило, тогда Потрохов, — шутя, разумеется, — развёл ей руки и слегка притиснул к стене:

«Что, мол, попалась, птичка?»

Светка попадаться не хотела и старалась выбраться, но борьба, конечно, была не равной, и она сказала:

«Ну, ладно. Хватит! Отпусти!»

«А если не отпущу?» — поинтересовался нагло Потрохов.

И Светка тогда вскинула, как за помощью, свои беличьи глаза на мужа своего, Степана, и Потрохов, тотчас уловивший её взгляд, скосился на Степана тоже, настороженно скосился и одновременно успокаивающе: «шучу, мол, сам понимаешь»…

Степан улыбался обоим, — а что ещё сделаешь? — да ведь и, правда же, шутили, играли…

А сейчас?

Дверь подъезда приоткрылась, и Степан мигом закрылся газетой. Но из подъезда вышел не Потрохов, а соседка Аня, которой Степан, точнее Светка, продала их дворовый гараж, так называемый тент-укрытие. Их тогда опять здорово припёрло. Верная четвёрка встала — полетела коробка передач — и все они в очередной раз сидели без работы и без денег соответственно. Единственная подмога — частный извоз, оказалась теперь недоступной, «а кушать, как говорила тёща, ведь каждый день хочется». Словом, решили расстаться с гаражом, написали и вывели на принтере объявление. Степан собственноручно расклеил на подъездах, и — полчаса не прошло — как раздался первый звонок. Звонил мужчина, голос был густой, начальственно раскатистый:

«Я сейчас на службе… Но, если договоримся, — а ваша цена меня вполне устраивает, — в двадцать ноль-ноль могу занести деньги».

«Так давайте прямо у гаража и встретимся!» — предложил Степан. — В двадцать ноль-ноль. Сразу и ключи отдам!

«И так можно, — согласился мужчина. — Договорились?»

«Договорились!»

«Ура-а!» — обрадовался перед женой Степан, гулко хлопнув в ладоши. — Продано!»

«Дурной, что ли? — мрачно осадила его Светка, потерю гаража сильно переживающая. — Чему радуешься-то?»

И, в общем-то, конечно, особо радоваться было нечему.

Пошли звонки. Степан всех огорчал отказом:

«Продано уже! Извините!»

«Чего ты извиняешься перед каждым? — заходилась в безысходном гневе Светка. — Извиняется он! Конечно! Нам только одним гараж не нужен!»

«Да хватит тебе!» — успевал между звонками урезонивать жену Степан.

«Хватит! Ступай лучше объявления свои посрывай, а то и спать не дадут со своими звонками!»

Совет был дельным, но, прежде чем отправиться его исполнять, Степан ответил на ещё один звонок. Ответил всё тем же текстом:

«Продано!»

«Жаль! — вздохнула невидимая женщина. — Ну, извините… А, если не секрет, — она задержала дыхание, — за сколько продали?

«Секрета нет, — сказал Степан, слегка огорчённый за эту женщину с таким милым, сердечным голосом. — Полторы тысячи.

«Дурак! Дурак! — завопила Светка, и Степан испуганно положил трубку. — Хочешь, чтоб к нам бандитов наслали? Что ж ты за дурак такой, а? Кретин! Секретов у него нету! А что у тебя есть, что?

Это уже начиналась истерика, и Степан поспешно ретировался на женою же указанный срыв объявлений. А когда вернулся, супруга заканчивала на кухне подсчёт долларов.

«Две с половиной тысячи! — шлёпнув пачкой о стол, победно объявила она. — Понял, как торговать надо? Давай ключи!»

В двадцать ноль-ноль к Степанову уже бывшему гаражу и загодя стоящему перед ним и продрогшему на холодном ветру Степану подъехала чёрная «Ауди». С пассажирской стороны неспешно выбрался представительный мужчина в норковой шапке, с противоположной выросла и замаячила непокрытая голова и могутные плечи рослого водителя-телохранителя.

«Жена, понимаете ли… — бубнил сбивчиво представительному Степан. — Предложили на тысячу долларов больше, ну и… Понимаете?

«Понимаю».

«Вы уж, пожалуйста, извините!»

«Извиняю. — Мужчина полез в машину, уселся. — Только вот что я тебе скажу, по-мужски: «Бабу свою строже держи. Иначе — наплачешься!»

Пророчество, похоже, начало сбываться, и не теперь только, а сразу же после той злополучной перепродажи гаража. Светка во всем постепенно забирала верх, всё-то она лучше знала, во всём-то разбиралась, понимала. Степан, правда, тогда никакого скандала не учинял, — смешно было бы ругать жену за выручennую лишнюю штуку баксов, тем паче что представительный мужик этот был Степану никто. Ну, выговорил ему по-мужски, Степан проморгался, неприятно, конечно, од-

нако же, и не в таком он благополучии пребывал, чтоб лишней тысячи, с потолка, прямо скажем, упавшей, искренне не радоваться, которая, к тому же, ой, как им вовремя пришлась, даже не сама по себе, а знакомством с покупательницей, той самой женщиной с милым, сердечным голосом, Аней, благодаря которой Светка вскоре устроилась на работу, временную, правда, но всё же… предоставившую им хоть какую-то, чуть ли не в полгода, передышку.

Гараж же их — Степан его ставил во дворе одним из первых, — был мгновенно снесён, вместо него водворён новый, радиоуправляемую дверь которого сейчас и поднимала с помощью пульта управления милая Аня, чтобы выехать через минуту-другую на новенькой светло-зелёной «Мазде».

А начавшаяся, было, дружба между Светкой и Аней не задалась. «Гусь свинье не товарищ», — так прокомментировала внезапное охлаждение их отношений супруга.

И правда, хотя Светка и хаживала в первое время к Ане чай пить, вместе чету Васильчиковых, то есть, как мужа и жену, в дом ни разу не пригласили, — какая же это может быть дружба?

От проезжающей мимо Ани Степан тоже на всякий случай скрылся за газетой.

Сидеть на скамейке оставалось не менее получаса, и Потрохов об этом знал. Поэтому, если не хотел он Степана дожидаться, пора бы ему было уже выходить.

Знала о времени возвращении мужа, конечно, и Светка. Так что…

Степан не успел додумать, как вдруг пришла, в общем-то, простейшая мысль, что срок его вынужденной отсидки можно сократить, причём, практически всё на те же полчаса с гаком.

«Скажу, что подвезли на машине, подбросили, так сказать, по пути! А что? Вполне допустимо, реально!»

От этой представившейся вдруг реальности Степан жутко взволновался. И впервые ему стало по-настоящему страшно — вот он сейчас войдёт, а там…

«Господи, да неужели это возможно? — взмолился он и сам же себе и ответил. — А почему бы и нет? Ведь что-то же между ними было… тогда… когда он отбивал её у Потрохова, хотя, конечно же, не отбивал он!.. Почему же не может быть теперь? Потрохов разведён… давно уж… и далеко не монах… судя по его прозрачным намёкам… Я — на работе, Светка одна… без дочери»…

Вспомнив о дочери, Степан словно бы врос в скамейку. Дочь! Вот кого он тогда потеряет. Хотя, что, значит, потеряет? — большая уж, взрослая… И, если с Потроховым им будет лучше, денежнее, сытнее, надёжнее, то… Стыдоба, стыдоба, если вдуматься! — застонал он, а чужой и резонный голос спросил: А что сделаешь? Ну, ворвись ты сейчас в квартиру — и что? При любом

раскладе — что? Скажут: «Извини, Стёпа, но мы любим друг друга».

«Хорошо, — допустил согласно Степан. — Если любят, хорошо! А если просто… если это самое… блудят? — Ему припомнились их блудливые улыбочки у лифта.

— Это же со стыда сгоришь. Куда бежать-то потом? Как жить? Любовь-то — куда ни шло, понять можно — пожалуйста, и всё такое прочее… по-человечески если… Потрохов может перебраться сюда, к девочкам, я — к нему. Жить-то мне где-то же нужно… на старости лет, — мельтешили наскакивающие друг на друга несуразные и невозможные соображения. — Порядок хотя бы у него наведу… Одному-то привольно. Чертежи, компьютер заберу и…»…

Степану вдруг представилось, что спасительный выход найден — если всем будет хорошо, то почему бы и нет? Действительно, Потрохов обеспечит Светку… И дочка, если уж на то пошло, в накладе не останется, тем паче, что помогать он ей, разумеется, не отказывается, последнее отдаст, как и отдавал всю жизнь, об этом и речь не стоит — родная дочь, единственная! В Анталию эту кто её отправил? Он! В долги по уши влез, а отцовский долг выполнил и впредь исполнять будет. А на худой конец, то есть, наоборот даже, на самый добрый, на самый отличный конец, они с дочкой могут и к Потрохову перебраться, чтобы, так сказать, «молодым», — Степан слово-то про себя заковычил, но не усмехнулся даже, — присутствием своим не мешать. Или, — и это, пожалуй, будет самым верным, самым правильным решением, — пусть Светка к своему Потрохову сама и отваливает. Любовь если, любовь, то и хлебайте её, как говорится, полной ложкой в бардаке своём потроховском, пока миллионерами не станете на кирпичах на своих на голландских и в хоромы новые, о которых всю жизнь только и мечтаете, не переберётесь! А мы с доч-

кой и в своих как-нибудь проживём, да ещё как проживём-то!»

Степан разволновался и разгорячился. В конце концов, верно говорят, что из всякого положения есть выход. И раз уж всё так складывается, то пусть лучше по-честному, в открытую, так сказать, без тягомотины лживой сознаются: «Любим, мол, друг друга, что же делать! Давайте решать, как дальше будем?». А у него уже всё и решено, ничего решать и не нужно: «Отваливаете, мол, ребята, ни пуха вам и ни пера! К чёрту!»

«И на Светку больше, жёнушку свою любимую, даже не взгляну ни разу — хватит, насмотрелся! Другой пусть её красотой любуется!»

От этой решительно оформленной мысли Степану сделалось так тошно, что он чуть ли не застонал вслух на этой чёртовой скамейке:

«О-о-о! Жизнь бекова! Неужели так и расстанемся? Даже без поцелуя прощального, даже без…»…

И застонал бы, но к нему опять подгребала-подваливала мятая оперная певица из погорелого театра. Теперь с плеча её свисала полукруглая чёрная сумка, которую Степан раньше не приметил, а из сумки торчали два горлышка, одно открытое, а другое под нетронутой бронзовеющей шляпкой.

— Можно? — певица остановилась прямо перед Степаном, словно ожидая, чтоб он уступил ей место, и он уступил, подвинулся слегка, хотя места и без того по обеим сторонам скамейки имелось предостаточно.

— Будешь? — усевшаяся вплотную певица протянула Степану непочатую бутылку.

— Спасибо, нет! — сказал Степан и опять слегка отодвинулся.

— А я буду! — певица вставила в сумку отвергнутую Степаном бутылку и вытащила открытую. — Можно? — скосила она глаза на Степана, прежде чем приложиться к горлышку.

— Пожалуйста-пожалуйста! — отозвался Степан, прикидывая, что надо сослаться на неотложные дела, — пора, мол, извините, — и вежливо ретироваться.

Певица глотнула пива и, словно обронив руку с бутылкой, с какой-то невыразимой безысходностью, как показалось Степану, уставилась одиноким, пустым взглядом поперёд себя.

Степан не решался её потревожить, хотя и понимал, что через секунду-другую начнутся совершенно не нужные ему теперь откровения.

— А я вот пою! — сказала, не меняя позы, певица. — Муж умер, и запела.

Опухлая рука её с бутылкой подалась ко рту.

— Вы уж меня извините, — выждав приличествующую моменту паузу, начал Степан, приподнимаясь, и в ту же секунду увидел выходящего из подъезда Потрохова. В мгновение ока он закрылся газетой, пригнулся и просипел. — Извините!..

На певицу всполошенность соседа не произвела никакого впечатления, — она по-прежнему смотрела невидяще поперёд себя.

Потрохов же быстро шагал к дружелюбно гугукнувшему, застоявшемуся без хозяина Фольксвагену. Вот он распахнул дверцу, уселся за руль, завёлся, тронулся.

Вновь вышедший охранник проводил его угрюмо-настороженным взглядом, — автомобиль незнакомый, тут, как говорится, гляди в оба.

Степан перевёл дыхание и опустил газету — всё, можно идти домой.

— А ты чего? — певица задержала вновь поднесённую к ярко крашенным губам бутылку, скосила взгляд на Васильчикова.

— Чего? — не понял Степан.

— Маешься.

Она сделала глоток и повернулась к Степану, как бы желая удостовериться, что он и взаправду мается.

— Я не маюсь! — соврал Степан. — Домой иду.

— Ухоженный! — вроде как с сожалением констатировала свой обзор певица. — Ну, шагай тогда, шагай!

Степан, и правда, уже поднимался.

— Вы уж простите, что не составил вам компании, — счёл всё-таки нужным сказать он.

Женщина не ответила.

А в лифте Степана вдруг пронзила мысль: «А вдруг Светка ничего не скажет? Промолчит. И как тогда быть?»

Выйдя из лифта, он спустился на один лестничный пролёт к окну. Во дворе, под склонёнными ветвями дерева продолжала сидеть на скамейке певица. На детскую площадку, с цветочной клумбой посерёдке, охранник выкатывал желто-синий автомобильчик наследника, которого вела вслед за ним, придерживая за ручонку, какая-то женщина, нянька или бабка.

«Как быть, если она ничего не скажет? — мучился, глядя в окно, Степан. — Делать вид, что мне ничего неизвестно? Продолжать работать на Потрохова, становясь с его помощью на ноги? Ведь кирпич пойдёт, голландская деревня начнёт строиться, и Потрохов будет день ото дня богатеть, генерировать новые идеи, строить новые деревни — бельгийские, кавказские, турецкие!»

А заговори он о Потрохове сам, Светка скажет:

«Заходил! Чайку попили, потрепались, как обычно… А что тебе не доложилась, извини, как-то не подумала, что тебе это будет интересно».

И всё! Как говориться, крыть нечем. Ещё и обвинят: «Ревнуешь, мол, на старости лет? Вон ты, оказывается, каков — жене и другу семьи не доверяешь!»

И, может, статься, будут правы, если, как говорится, ничего про меж них такого не происходило, а просто попили чайку и разошлись, — друзья ведь…

«Вот положеньице-то, а! Врагу не пожелаешь!»

Наследник уже вовсю рулил вокруг клумбы, вернее, рулил-то он куда попало, а бегающий за ним охранник направлял его автомобиль вкруг клумбы.

«Неужели Светка его любит? А вдруг он пристал к ней, и она, чтобы не портить отношения, не терять работы?..»…

В груди Степана, как пишут в романах, прямо всё захолонуло и он даже затряс головой:

«Нет, в это невозможно поверить, Светка не такая, и, хотя эта грёбанная жизнь может сломать кого угодно, всё-таки не станет она, его Светка, так унижаться, не

станет торговать собой, что бы ни случилось, не станет, нет, нет, нет!»

И потому он сейчас войдёт, и она спросит:

«А ты с Потрохом разве не столкнулся? Только что вышел от нас!»

А Степан, снимая ботинки, спокойно удивится:

«А он разве заходил к нам? Зачем?»

«Да ну его, — скажет Светка, — повадился, прям, как не знаю, кто! С души воротит!»

«С души воротит», так она, конечно, не скажет, это его, Степана выражение, которое он в детстве слышал от своей бабушки, матери, отца… Странно, но в последнее время, — к старости, наверно, — к Степану начали возвращаться вроде бы давно позабытые, десятилетиями неиспользованные слова и выражения, вроде вот этого — «с души воротит». Слова эти и выражения всплывали сами собой, срывались вдруг с языка, немало удивляя своим существованием Светку, которая ничего подобного или не слышала, или уж точно никогда не употребляла, как вот, например, слово «лукаться», то есть бросаться, кидаться чем-то, или — вот ещё недавно словечко всплыло — «помулызгивать», означавшее на что-то там втайне надеяться, рассчитывать… «Он, поди, рюмочку помулызгивал выпить»…

Светке, столичной штучке, эти народные просторечия претили, она морщилась, кривилась, не желала в своём доме их даже слышать и обзывала Степана неотёсанной деревенщиной, который «совсем уж что-то опускаться начал». А вот дочку, кстати сказать, через два дня домой наконец-то возвращающуюся, эти выражения забавляли, и она нарочно подразнивала ими

мать: «Ну, что, мама, насчёт чего опять помулызгиваешь?» — чем приводила Светку в неописуемое возмущение, обрушивающееся по большей части на голову её «бестолкового папаши».

Так что «с души воротит», Светка, конечно же, не скажет, но и дурью маяться ни себе, ни ей Степан уже тоже не позволит, — хватит, намаялся уже на скамейке! И какому концу не быть, такому и быть!

Степан, храбрясь, взошёл по ступенькам, остановился у своей, обитой чёрным дерматином, двери, за которой слышалось звучание телевизора, дважды, как привык за многие годы, кликнул кнопку звонка, отозвавшегося приглушенным колокольчатым переливом, и, спустя секунды, скорее почувствовал, чем услышал быстро-лёгкое приближение жены, прильнувшей (она всегда так поступала, и Степана и дочку приучала) к смотровому глазку.

Степан через силу улыбнулся, его фотографировали.

Замок отщёлкнулся, дверь открылась, и Степан переступил через родной порог. Жена была в её обычном цветастом халатике, одетым прямо на голое, угадываемое за материей близкое тело.

«Не переодевалась даже!» — бухнуло в голову, и он тотчас же, закрыв дверь, склонился над ботинками, чувствуя, что багровеет лицом не столько от прилива крови, сколько от удушающе жаркого, пронизывающего всё его низменное существо стыда и страха.

Светка меж тем удалилась на кухню, где продолжила прерванный разговор по телефону.

Степан заглянул в спальню — кровать была накрыта как обычно шерстяным рыжим покрывалом, поверх которого валялись наспех сброшенная, неубранная в шкаф кофта и чёрный кружевной бюстгальтер.

«Переодевалась!» — облегчённо выдохнул Степан, чувствуя отлегающую от сердца тягость.

«Ну, давай тогда, — говорила кому-то по телефону супруга. — А то у меня муж с работы пришёл. Созвонимся!»

Клацнула положенная на аппарат трубка, Светка появилась из кухни. На лице её виднелся косметический грим, глаза были подведены, губы накрашены.

— Ну, — испытующе спросила она, открыто наблюдая за переодевавшимся в домашнюю одежду мужем, — что скажешь?

— А что я скажу? — Степан насторожился.

— Так и буду теперь за тебя зарплату получать?

— Какую зарплату?

— Какую заработал!

Разговаривая, Светка перешла на кухню, Степан — следом.

В мойке лежала невымытая посуда, глубокая тарелка со следами супа, две чашки с блюдцами, одно с голубой каёмочкой.

— Потрохов, что ли, заезжал? — вроде как догадавшись, спросил Степан.

— Заезжал! — Светка отчего-то вздохнула, включила воду. — Говорю же, сто долларов твоих привёз.

— Так — хорошо! — произнёс Степан.

— А тебе не мог отдать? — С чашкой в руке жена повернулась к Степану. — И, вообще, хватит, может, его к дому приваживать?

— Сама бы и не приваживала! — возразил Степан. — Я, что ли, ему печенья пеку?

Светка отвечать не захотела, вроде как призадумалась, глядючи на неразумного мужа, и взгляд её при этом стал странным — печально-укоряющим, презрительно-жалостливым, смущённым, виноватым?..

— Он, что, приставал к тебе? — вдруг вырвалось из Степана, и всё в его нутре похолодело от разом захлестнувшей ненависти к Потрохову.

«Пожалуется — убью!» — пронеслось в голове законченным решением.

— Да что я девчонка, что ли? — вроде как с досадой отвлеклась от своих мыслей Светка, возвращаясь к мытью посуды, но Степану почудилось, что его она отвлекала от чёрных мыслей, его!

— Хвалился! — ворчала меж тем Светка, возясь с посудой. — Всё расписывал, какой он крутой, да какие у него знакомства и связи!

«Кругами ходит!» — бушевал внутри себя Степан, а вслух сказал:

— Запрещу ему в дом приходить, когда меня нет!

— Запрети, — легко согласилась Светка, и Степана почему-то пронзило жалостью — к ней, к себе, к людям!

— Он же тебе в подмётки не годится! — повернулась вдруг к нему Светка. — Как был витькиным потрохом, так и остался! Да и все они такие, потрохи эти гад-

ские, менеджеры проклятые! Чтоб им провалиться всем!

— Ну-ну, — озадаченный этой вспышкой Степан успокаивающе шагнул к жене.

— Да пошли они все!.. — Светка отвернулась к мойке. — С души воротит!

Из крана с прерывистым шипом била горячая вода, под тонким, полуистлевшим от постоянной носки халатом ходили Светкины плечи, в распадке крашенных волос на затылке просматривались нетронутые хной светло-русые родные корни, в которые Степану вдруг захотелось уткнуться губами, носом…

Он подошёл и бережно обнял жену со спины, приложился лбом и губами к её фиалково душистой, хотя и крашенной зачем-то голове.

Светка не замерла и не перестала мыть посуду, напротив, лопатки её заходили ещё сильнее, ещё энергичнее, наполняя прижатую к ним грудь Степана зарядом нежной и могучей любви, от прилива которой ему вдруг совершенно не к месту, но счастливо подумалось:

«А комбайн-то я свой сделаю. Долеплю! Как бы вы там, гады, не исхитрялись!»

2007 г.

ХОТЕЛОСЬ БЫ СЕГОДНЯ

Лет семь, а может, и того больше, Дмитрий Васильевич Балышев не пользовался общественным транспортом, — верная «Ауди» служила безотказно и, как говорится, нужды не возникало. Даже на всевозможные застольные мероприятия Дмитрий Васильевич предпочитал добираться на своих колёсах, легко жертвуя при этом алкогольными возлияниями, к коим давно уже, возможно, опять-таки из-за постоянного пристрастия к рулю, сделался совершенно равнодушен. А тут… Дмитрий Васильевич уже в энный раз гонял стартёр, а двигатель не только не заводился, но даже и не схватывал.

В чём дело?

В недоумении и растерянности Дмитрий Васильевич задрал капот. Но что, скажите на милость, он мог увидеть? Припорошенный серой гарью двигатель, на котором всё вроде бы пребывало на своих положенных местах. А что там конкретно отказывалось контачить и фурычить — поди-ка, попробуй, догадайся!

Конечно, будучи достаточно опытным водителем, Дмитрий Васильевич знал порядок поиска неисправностей. Во-первых, проверить подачу топлива, во-вторых — наличие искры, а далее уж, так сказать, исходить из обнаруженного… Однако возиться самому… в чистой одежде… в машине, напичканной бог весть какой электроникой, — нет уж, благодарим покорно…

Опустив внятно и плотно защёлкнувшийся капот, Балышев вернулся в машину, достал из бардачка пакетик с влажными салфетками, аккуратно вытянул одну,

развернул и, с удовольствием вдыхая летуче распространившийся по салону лимонный парфюм, тщательно вытер слегка запачканные пальцы. Использованную салфетку, смяв в шарик, опустил в кармашек на дверце, дабы выбросить при случае в урну, — Дмитрий Васильевич был порой до курьёзного чистоплотен, — и, не без потаённой надежды на извечное русское авось, вновь выжал сцепление и повёрнул до упора ключ в замке зажигания. Стартёр въедливо вгрызся в маховик коленвала, закрутил с надрывной старательностью и стих, — это сам Балышев, — «не хватало ещё посадить аккумулятор» — пресёк его очевидно безрезультатные потуги.

Успокаивая себя тем, что сломался ни где-нибудь у чёрта на куличиках, а на стоянке родного Министерства, ныне Корпорации, и одновременно огорчаясь неминуемым хлопотам и непредвиденным расходам, Дмитрий Васильевич связался по мобильнику с автосервисом и неожиданно легко заказал механика на завтра. Уже одно это можно было расценивать как удачу, а если и неисправность к тому же окажется пустяшной, то… «Стоп-стоп! — осадил себя Балышев. — Как бы там ни было, а первый звонок прозвенел, и, стало быть, будет совсем не лишним приобрести где-то по пути к дому газету «Из рук в руки», чтобы по ней, так сказать, сориентироваться с текущей ценовой политикой на автомобили аналогичных марок».

С этой мыслью Балышев поставил забастовавшую «старушку» на сигнализацию и с чёрно-кожаной папкой подмышкой направился пешедралом к метро.

Думалось о практичных японцах, которые, как он слышал, обновляли свои машины ровно через три года,

— срок гарантированно безпроблемный. Отъездил три годика, сдал старую тачку и пересел на новую. Красота! Кстати, трёхлетки всегда в цене. Но это у нас. А в Японии? С учётом того, что все японцы шибко умные…

Размышления Дмитрия Васильевича носили чисто теоретический характер. На новую «Ауди», даже при супер удачной продаже старой, денег всё одно не набиралось. В неприкосновенном семейном запасе лежали всего две тысячи долларов, оставленных аж на самый чёрный день, наступление которого жена Дмитрия Васильевича ждала, не переставая, с того самого момента, как её, кандидата филологических наук, в одночасье вышвырнули по сокращение штатов из родного издательства. Теперь-то жена уже второй год получала пенсию, но жалкой этой подачки (так говорила она всем друзьям и знакомым) едва хватало на оплату их трёхкомнатной квартиры. При этом Елизавета Викторовна напрочь не желала принимать во внимание, что многие из тех, кому она жаловалась, пребывали едва ли не в более стеснённом положении, чем семья Балышевых. Свою профессиональную невостребованность она воспринимала, как сугубо личное оскорбление, и оттого, надо сказать, только сильнее мучилась и страдала. Её не ободряло даже относительное благополучие мужа, всё-таки сумевшего, несмотря на бесконечные реорганизационные пертурбации, удержаться на своём рабочем месте. Впрочем, и родное Министерство было уже давно Корпорацией, а сам Балышев значился Старшим менеджером Пресс-центра, руководя в его разветвлённых корпоративных недрах крохотным, в сущности, от-

делом, осуществляющим предпечатную подготовку для разного рода типографских изданий.

Дмитрий Васильевич с удовольствием брёл через зеленеющий сквер к метрополитену. Весна ещё только готовилась уступить лету, вечернее солнце светило ласково, добродушно, всё дышало первозданной свежестью. Сквозной ветерок, под стать легчайшему морскому бризу, с мягкой упругостью ударял в лицо, а навстречу одна за другой непринуждённо вышагивали «животно-обнажённые особи» с интимно впалыми и выпуклыми пупками, бесстыдно зияющими над низко приспущенными (аж до самых тазобедренных кострецов) джинсами.

Хорошо!

А за чугунной оградой сквера скученно, бампер в бампер, тянулись, чадя выхлопными газами, бесконечные автомобили, в одном из которых мог бы сейчас, наверно, париться и сам Дмитрий Васильевич.

Однако до метро было совсем близко. Вот уже начались торговые ряды, то бишь самостийно выстроившиеся вдоль тротуара бабки, торгующие сигаретами, пучками зелени, красно-белой редиской и, чёрт знает, чем ещё. Всё предлагаемое размещалось на каких-то картонных коробках, ящиках, газетах… всё, разумеется, в антисанитарной грязи… среди отвратных бомжей, с тяжко опухлыми, копчёными физиономиями, украшенными лилово набухшими синяками, гнойниковыми язвами и прочими ужасающими прелестями бездомного и беспробудно пьяного существования.

Нет, всё-таки в машине было бы, безусловно, лучше!

Балышев брезгливо вступил в подземный переход, на бетонной плите которого лежали три полузаморенных, грязно-лохматых дворняги. Одна, бездыханно вытянувшись, беспечно спала на боку, — через неё, натыкаясь, с опаской переступали, в том числе и Балышев. Другая, уныло уткнувшись мордой в передние лапы, абсолютно ни на что не реагировала, а перед задышливо отвислой пастью их третьей подружки, вяло постукивающей по серому бетону свалявшимся в клочья хвостом, стояла круглая жестяная банка из-под импортного, знать, печенья. В ней валялись две десятирублёвые бумажки и мелочь, вразнобой звякнувшая при чьём-то очередном сердобольном взбросе. Хозяйское место, обозначенное рваной ватной подстилкой, пустовало, но к стене был приставлен кусок белого, грубо отодранного картона, на котором кривым красным фломастером оповещалось: «На корм животных!».

По центру перехода плотно лепились друг к дружке разномастные киоски, из которых выплескивалась и бухала разнобойная музыка, вся какая-то разухабистая, попсовая и даже блатная.

Дмитрию Васильевичу, как говорится, приходилось ступать на грешную землю, вывозить жену на рынки, в прочие людные места, но теперь, ставши вдруг «безлошадным», он будто утратил вместе с «Ауди» и некий предохранительный иммунитет, отчего чувствовал себя словно бы на экскурсии, причём как бы и не вполне безопасной.

Подхваченный общим движением, он всё замечал фрагментарно. Вот кто-то небритый, запрокинувши голову и дёргая острым кадыком, глотал из бутылки пиво,

а кто-то, напротив, старательно изогнувшись, тянулся ощеренным ртом к истекающему на асфальт чебуреку. Совсем ещё юные девчушка с парнишкой, вдавив друг в друга свои паховые области, поглощено демонстрировали поцелуй взасос. Тут же рядом бренчала гитара и надрывался чей-то сиплый голос, — это, упираясь толстым задом в облицованную жёлтым кафелем стену, ожесточенным боем бил по дребезжащим струнам длинно-волосатый парень в засаленных кожаных брюках и клетчатой тужурке. Пел он на плохом английском, а перед ним с широкополой шляпой в двух руках ходила, искусственно улыбаясь, наголо бритая девица с броско подведёнными чёрным тушем иссиня голубыми глазами.

Балышев, придерживая покрепче папку, которую очень запросто могли в этой толчее и круговерти вырвать, никому и ничего не давал, нигде и ни перед кем не задерживался, забыв даже «притормозить» у киоска союзпечати, где замышлял изначально купить «Из рук в руки». Окружающая среда была ощутимо чужой, пугающе агрессивной, и Дмитрию Васильевичу невольно хотелось как можно скорее её покинуть. В тоже самое время его не оставляло чувство какого-то жгучего любопытства, с каким порой приходится вглядываться в смертельно захворавшего родственника, ещё не так давно пышущего здоровьем и оптимизмом.

Особенно остро это чувство проявилось в метро, которое так сильно похужело, состарилось и обветшало, что внутри Балышева заныли даже какие-то заунывно-жалостливые ностальгические струны, — это ли когда-

то лучший метрополитен в мире, ныне заляпанный рекламными баннерами и плакатами?

У кассы, где требовалось обзавестись талоном на две поездки, сегодняшнюю и завтрашнюю, на Дмитрия Васильевича навалилась мощной грудью шумно дышащая в ухо баба, — назвать её женщиной у Балышева в голове не повернулось, — которая на секунду стихла и тотчас же задышала ещё шумнее, возмущённее, когда он невинно поинтересовался у кассира о стоимости сегодняшнего проезда.

И перед турникетом на замешкавшегося с приобретённым талоном Дмитрия Васильевича, не сразу сообразившего как им воспользоваться, дружно зашикали и поднапёрли, а уж на площадке перед эскалатором и вовсе неумолимо сгребли, стиснули и попёрли заодно со всеми. О какой-либо безконтактности, разумеется, не могло быть и речи, и Балышев покорился участи невольного метропассажира, хотя и недоумевал втуне: зачем так напирать и давиться, если наверняка можно продвигаться спокойно?

Но, очевидно, вести себя по-другому здесь было совсем непросто.

Дмитрий Васильевич, принципиально не желая участвовать в коллективной давке, пропустил два переполненных состава, а когда подошёл третий, вдруг озлясь, что опять останется, как последний идиот, на перроне, ринулся рьяно в вагон и с удовлетворением ощутил, как проехались по его спине самозакрывающиеся дверцы, — «влез!». Поезд тронулся, закачался, загрохотал, набирая скорость, и помчался на полную мощь,

бойко отстукивая колёсами, как ему и было положено, на рельсовых стыках. Балышев, прижимая к животу папку, стоял в тесноте, но зато и не в обиде, — ведь он тоже, чёрт возьми, ехал! Было бы, конечно, неплохо выкроить себе побольше жизненного пространства, но давление из битком набитого нутра вагона позволяло только мечтать об этом. Ближе к станции давление стало нарастать, чему способствовали передвижения пробирающихся на выход пассажиров. Беспокоясь, как бы не вывалиться спиной на остановке — «раздавят ведь, черти, и не заметят!» — Балышев попытался оттиснуться от двери, чтоб создать меж ней и собой хотя бы небольшой зазорчик, а ещё лучше — поворотиться бы лицом, чтобы выйти, так сказать, привычным передом. Но не тут было. Удалось лишь отвернуть голову, а вот отжаться, увы, не удалось совсем, — вдруг так мощнейше поднажали, что поневоле пришлось принять изначальное положение, то есть опять-таки вдавится спиной в дверцу, на которой, между прочим, как вспомнилось Балышеву, должна была присутствовать предупредительная надпись «Не прислоняться!».

Виновником повышенного давления был крупного телосложения дядька, который, больно отталкиваясь локтем от груди Балышева, совершал обмен с протискивающимся к выходу пассажиром. Маневр этот, — если это можно назвать маневром, — слава Богу, завершился, в результате чего в Дмитрия Васильевича тотчас же, кривясь и морщась от нещадных толчков в спину, вжалась молодая особа. Вжалась и стихла, словно достигнув наконец-то желанной цели. Взгляд её равнодушно скользнул по лицу Дмитрия Васильевича, который

как стоял руки по швам (в одной папка), так и потрясённо обомлел и замер, — такого запредельно плотного соития у него, пожалуй, ещё не было ни с одним человеческим существом в мире. Никаких сексуальных позывов эта мысль, разумеется, не пробудила, но груди, животы, ноги Балышева и девушки — всё будто бы стало принадлежать им обоим. Любое шевеление одного слитно отдавалось в другом, чувствовалось и предощущалось.

Боясь дохнуть, Дмитрий Васильевич даже не водил глазами, он их, напротив, старательно отводил от слишком близкого созерцания вынужденно притиснутой к нему девушки. Но — куда, куда?.. — если всюду была она — нежный очерк её шеи в распахе белоснежного воротничка блузы… скульный абрис щеки… мочка уха… такая обворожительно нежная под завитком серопепельной пряди, что хотелось прикоснуться к ней губами… не как к сексуально притягательному объекту, — боже, упаси! — а как…

Впрочем, сравнения и не требовалось… Балышев, надо признаться, обожал женщин. Вернее, обожал Женщину. Ту самую, в которой, точно по Пушкину, для него сошлось бы всё — и «божество, и вдохновенье, и смех, и слёзы и любовь». Такой женщины в жизни Дмитрия Васильевича никогда не было, и, может, именно поэтому образ чистой красоты, внешней и духовной, в нём не только не мерк с годами, а, пожалуй, даже и наоборот, усиливался, как усиливается тоска по недосягаемому, но, безусловно, существующему где-то идеалу. Что опыт, что разочарования? — всё тотчас же летело к чёрту, едва появлялся, начинал брезжить этот

недосягаемо желанный идеал… возможно, воплощённый теперь в этой юной леди, волей случая притиснутой к нему до невообразимой близости. «Каким ветром занесло её в этот вагон? Такой бы девушке сидеть в карете… мимо нас»… — бессвязно думал Балышев с непроницаемо бесстрастным, но вспотевшим от внутреннего напряжения лицом.

— Вы на следующей выходите? — осведомилась между тем девушка и слегка шевельнулась, показывая тем, что готова, если нужно, поменяться местами.

— Я вас выпущу, — сухо отозвался Балышев и под предлогом этого вынужденного диалога задержался будто ненароком на её лице.

Да, это без сомнения была она… Та самая, недосягаемо желанная, единственная… на которую, как на икону, он, наверное, мог бы смотреть всю жизнь, — смотреть и молиться…

И уже на остановке, когда, «сойдя спиной» и посторонившись, пропустил мимо себя освобождённую девушку, а заодно и других выходящих пассажиров, тотчас заслонивших её от него навсегда, запоздало подумал:

«И почему я не сказал «выхожу»? Почему лишил себя возможности последовать за ней? Просто последовать… без цели»…

А что бы это дало? — размышлял Дмитрий Васильевич, сидя в домашнем кресле перед вечерним телевизором.

Точно в таком же кресле (старый журнальный гарнитур) сидела вполоборота к мужу Елизавета Викторовна. Голубоватый свет экрана высвечивал её щёку, явст-

венно покрытую седым посеребрённым пухом. Это ещё было ничего, терпимо, по сравнению с тем, что Балышев видел недавно у хлебного киоска, где в короткой очереди стояла супружеская пара, он — благообразный, седоголовенький старичок, и она — дама с чёрной щетиной над верхней губой и кустиком волос на дряблой шишечке подбородка. Трудно представить, а между тем, представлялось несомненным, что когда-то никакой растительности на её пожухлой теперь коже не было и в помине, и дама, наверно, блистала и очаровывала…

Дмитрий Васильевич не считал себя несчастливым в браке. Елизавету Викторовну, встреченную им на двадцать восьмом году жизни, не то чтобы любил, но уважал несомненно. Она была потомственной москвичкой, тогда как Балышев — иногородним лимитчиком из Волгограда. Проживал он в заводской общаге, она — с родителями, аппаратчиками среднего звена ЦК ВЛКСМ, в трехкомнатной квартире в районе Пироговки. После окончания полиграфического института Балышеву нужно было что-то предпринимать — либо возвращаться на малую родину, чего, откровенно говоря, не хотелось, либо всерьёз закрепляться в столице. Женитьба на обеспеченной, хотя бы жильём, москвичке представлялась, конечно, наилучшими выходом из лимитного положения. Но таких, как Балышев, в Москве было много, а вот с москвичками, подходящими для женитьбы, ощущался явный дефицит, во всяком случае, для него, который, как ни старался, всё никак не мог принудить себя жениться только на квартире. Одна такая попытка, слава Богу, не увенчалась успехом, хотя по степени

обеспеченности тот вариант, пожалуй, и превосходил Елизаветинский. Балышев даже сделал официальное предложение, но, сделавшись женихом и добрачным мужем, вдруг почувствовал себя так, как если бы влез в колкий шерстяной свитер с удушающе плотной горловиной. Освобождение принесла, казалось бы, сущая мелочь. Он как-то пошутил невзначай над своей невестой, причём, насколько он мог судить, абсолютно беззлобно, — самой шутки он, убей, не помнил, — а её вдруг чего-то заело, и в отместку она прихватила Дмитрия Васильевича за ухо, вроде как шутливо, да прищемила вдруг так неожиданно больно, что он едва не вскрикнул. У него даже навернулись слёзы. Экзекуция эта продолжалась недолго, но, однако ж, её вполне хватило, чтобы Балышев оставил тот дом навсегда и без сожаления.

С Елизаветой же Викторовной они познакомились и сошлись как-то чрезвычайно банально. Случилось это на катке Чистых прудов, где у Елизаветы Викторовны элементарно подвернулась нога. Дмитрий, оказавшийся по случаю рядышком, что называется, просто вежливо предложил руку, сопроводил к дому и был у подъезда приглашён на чай. Родители встретили Дмитрия по-домашнему мило, — они были славные старички, тогда, впрочем, и не старички вовсе…

Так оно всё и образовалось — поженились, стали жить…

Никаких серьёзных треволнений между ними за всю совместную жизнь не возникало, и за одно уж это Балышев был своей Лизоньке безмерно признателен,

— ведь у других чёрте что только не творилось и не происходило!

Сам Дмитрий Васильевич умудрился изменить жене всего однажды, но зато с двумя сразу. Содеялась эта пакость в далёкие уже времена, когда они с женой проводили первомайские праздники на даче у её приятелей, архитекторов, которые, чёрт знает зачем, — отмечали какую-то премию, что ли? — поназвали уймищу разномастного народа. Пили, разумеется, немерено, спали вповалку… И вот по пьяной-то этой лавочке Дмитрия Васильевича, тогда Димку, Димочку, взяли в сексуальный оборот две весёлых подружки, — сговорились, наверное, чертовки! По счастью дурная шутка эта неприятных последствий не имела. Жена, — он был в этом стопроцентно уверен, — ни в чём его даже не заподозрила, хотя одна из позабавившихся с ним любовниц в кавычках ходила у неё в те времена чуть ли не в близких подругах, к счастью, недолго.

Дмитрий Васильевич о нечаянной этой измене всегда вспоминал с содроганием, — удовольствия она не доставила никакого, а вот стыда и страха он, протрезвев, натерпелся, ведь Лизонька, страшно подумать, находилась в соседней комнате… Да и лесбиянки эти чёртовы могли запросто проболтаться, — подмигивали, перехихикивались, ведьмы!

Других, сколь-нибудь мимолётных или серьёзных увлечений в жизни Дмитрия Васильевича как-то уже не случилось. Вспыхивал, бывало, на мгновение — неужели она? — и угасал.

Но сегодняшняя девушка из ума не шла… Всё-таки какое родное лицо, какая умопомрачительная близость,

какая восхитительно нежная кожа! И какая молодость, благодать, свежесть!

Балышев не без удовольствия отмечал, что желание было не только платоническим. Это как-то приятно бодрило, — значит, не утерян вкус к жизни, следовательно, не совсем он ещё старый пень в свои, страшно признаться, пятьдесят восемь годочков. И, в принципе, слегка увлечься, потерять голову было бы, наверно, вполне допустимо… без каких-либо серьёзных последствий, разумеется — так… Как сегодня выражаются, влёгкую…

«Не по летам, друг мой милый, не по летам!», — осаждал себя Дмитрий Васильевич, впрочем, не слишком строго, а, пожалуй, даже и шутливо, поскольку груза лет своих в эти минутки не ощущал нисколько.

Жена, увлечённая телевизионным юмором, чему-то там радостно рассмеялась, и самозабвенный смех этот вдруг поразил Дмитрия Васильевича, — как будто смеялась девушка, как будто бы молодая, беспечная…

Ему вдруг, словно бы внове, подумалось, что никто не может знать, что творится у человека под черепной коробкой. Вот, казалось бы, жена — давным-давно прочитанная книга, а, поди ж ты, смеётся как молодая, а, возможно, и фантазирует, не хуже его, о вкусе к жизни, об увлечениях… Что, впрочем, сразу же показалось ему невероятным. Хотя…

А чем она занималась, когда его, пьяного, совращали две её весёлых подружки?

— Тебе что-то нужно? — не отрываясь от экрана, спросила Елизавета Викторовна, почувствовавшая взгляд мужа.

— Ничего! — воскликнул Дмитрий Васильевич. — Смеёшься хорошо!

— А что? — Елизавета Викторовна воззрилась с удивлением. — Нельзя?

— Почему же нельзя? Можно! И нужно! — Дмитрий Васильевич потянулся к жене, чтобы чмокнуть в щёку, но, вспомнив о растительности на её щеке, ограничился тем, что погладил руку, тоже, кстати, не безволосую…

За эти мысли Дмитрию Васильевичу сделалось стыдно, и он всё-таки коснулся губами жениной щеки — принуждённо и виновато…

— Ты сегодня какой-то не такой, — бормотнула жена, опять вовлекаясь в интересный ей телевизор. — Из-за машины, что ли, переживаешь?

В телевизоре опять юморили, и Балышев понял, что можно не отвечать.

И не ошибся.

В спальне Дмитрий Васильевич вернулся мыслями к машине, а в связи с её отсутствием — к завтрашнему путешествию на метро. Смешно было и думать о новой встрече. И, тем не менее, думалось, думалось! Как всё-таки невозможно слитно они стояли! В распахе белой блузы угадывалась светлая ложбинка… И как необыкновенно чудно, по всплывшему вдруг из юности Ги де Мопассану — «и силился в разрез поглубже заглянуть!», — было бы пуститься в разведку…

Дмитрий Васильевич даже побудился, было, влекомый желанием, позвать жену, но, представив её вящее недоумение, решил успокоиться.

И успокоился.

Назавтра в метро, естественно, ничего хорошего не случилось, хотя давка была не меньше вчерашней. А вот на службе Дмитрия Васильевича поджидал сюрприз. За столом ушедшей на пенсию Клары Терентьевны Новиковой, на место которой брать никого не планировали (и два месяца не брали), сидел большеголовый и прилизанный молодой человек среднеазиатской наружности.

При появлении Балышева он тихо встал, бормотнул «здравствуйте, и тихо сел, не проронив больше ни слова.

Дмитрий Васильевич, ответив, разумеется, на приветствие, встретился вопросительным взглядом с Верочкой, своей давней правой рукой и помощницей, и по её выразительно скорченной гримаске окончательно уверился в худшем — взяли!

Не дрогнув ни одним мускулом, — так ему казалось, — он разложил папку, достал бумаги, включил компьютер. Пока тот, тихо урча, загружался, вошёл непосредственный начальник — совпал с музыкальным приветствием Windows.

— Уже познакомились? — спросил он, бегло подавая руку Дмитрию Васильевичу. — Сахатов Максуд Юсупович…

Молодой человек с гладко прилизанными чёрными волосами уже стоял перед бывшим кларытерентьевным столом.

— Работал в газете! — рекомендовал новичка непосредственный начальник. — Компьютер знает. В общем, трудитесь!

И не желая долее находиться в неловко ощущаемой всеми обстановке, сбежал.

Сахатов опустился в кресло, — жалкий, никому не нужный инородец с гладко зализанными чёрными волосами…

Дмитрия Васильевича, тоже ведь бывшего иногородца, даже вчуже кольнула некоторая жалость, — паренёк-то уж никак не виноват, — но досада и злость на этот новый стиль, недопустимый в прежнем Министерстве, а теперь как будто нарочно взятый на вооружение в Корпорации, где не только принимали, но и увольняли без предварительного уведомления, распространиться жалости не дали… Да и не было её, никакой жалости, а было чувство, то самое, гадкое, мерзопакостное, при возникновении которого обычно говорят «в душу наплевали», если не покрепче…

Однако делать было нечего. Качать права Дмитрий Васильевич не пошёл, справедливо рассудив, что непосредственного начальника, верного, в общем-то, старинного товарища, тоже наверняка ткнули носом, поставив, так сказать, перед фактом, в противном случае он, конечно бы, Дмитрия Васильевича хотя бы предупредил…

Так оно и оказалось. Непосредственный начальник был вне себя и наедине с Дмитрием Васильевичем негодования своего не скрывал. Но… давно минули те времена, когда, ратуя за общее дело, можно было уличать, призывать, отстаивать. Профсоюзные собрания, собрания трудового коллектива теперь не проводились, всё социальное, кадровое, а уж тем паче «закадровое», решалось втихую ближним кругом замов Генерального

директора, среди которых всё больше и больше появлялось тех, кто под костюмными пиджаками носили не рубашки с галстуками, а разноцветные майки. Даже не водолазки, а по сути, футболки, случалось и расписные дизайнерскими вензелями. Этих новых так и прозывали за глаза — «маечники»…

Дмитрию Васильевичу, откровенно говоря, из установившегося порядка, вообще, мало что нравилось, но он старался не вникать в эту тему, не погружаться, иначе захлёстывала тоска, опустошающее душу неверие, которое раньше времени свело в могилу елизаветинских стариков, всю свою жизнь проработавших на коммунистическое завтра. Господи! Да что там коммунизм с его светлым будущим для всего человечества? В него-то, как в тот же идеал пушкинской Женщины, ещё можно было как-то верить, мечтать, фантазировать… А верить в воцарившийся рынок, в его хватай-купи-продай нормативы — на это Дмитрия Васильевича уже, увы, не хватало. «Воспитание не то!» — смеялись они, бывало, всё с тем же непосредственным дружком-начальником.

Тот, правда, был пошустрее, да и к верхнему начальству, в отличие от Балышева, конечно же, поближе. Так, собственно, всегда было. В Министерство они пришли одновременно, Былышев даже месяцем раньше, но и при равных должностях и умственных способностях начальник всегда опережал Дмитрия Васильевича по части той или иной осведомлённости, что, разумеется, и принесло свои результаты. Вот и теперь, как не крути, а сведения, так или иначе, стекающиеся в руководимый им Пресс-центр, позволяли ему держать нос по ветру, а порой и урывать от неустанно растаскивае-

мого бывшеминистерского пирога лакомые кусочки. Именно благодаря его приобщённости Дмитрий Васильевич и получил свою «Ауди», тогда почти новую, всего-то с пятитысячным пробегом на спидометре…

Н-да…

Балышев так и не понял толком, в какой операции он проучаствовал, — в подробности его не посвящали, а он, тактично, не вникал, — но, судя по тем финансовым бумагам, которые он, доверившись гарантиям своего дружка-начальника, слепо подмахивал, его на какое-то время произвели в настоящие миллионеры. Не менее курьёзным в этой афере было и то, что, как выяснилось впоследствии, аферисты (свои, министерские!) якобы рисковали гораздо сильнее, ибо на каком-то этапе сделки Балышев, оказывается, запросто мог бы пожать им руки и объявить себя полноправным Акционером. Конечно же, у Дмитрия Васильевича и мысли похожей не возникало, но позже, содрогаясь внутренне от проявленной безрассудности, — это же надо было так довериться! — он, разумеется, полностью осознал, что расплатился за «Ауди» своей порядочностью, то есть буквально машину приобрёл за порядочность. Правда, кроме него, этого обмена-потери никто не заметил. Да и забродившие, было, угрызения совести почти напрочь заглушились страхом за возможные последствия, каковых, слава богу, так и не последовало. Когда же опасения мало-помалу развеялись, вместе с ними улетучились безвозвратно и какие бы то ни было угрызения. Напротив! «Ауди», в отличие от его прежней вазовской чётвёрки, была прелесть как хороша, и за её чутко послушливым рулём да на хорошей-то трассе Дмитрий

Васильевич ощущал себя довольно удачливым человеком. Не бизнесменом, конечно, но уж Старшим-то менеджером наверняка, — это он так над собой добродушно подтрунивал.

Как уже и было сказано, его добропорядочная репутация от спроворенной сделки не пострадала, но и не выросла. «Одноразово использовали, — сетовал подчас Дмитрий Васильевич и безжалостно уточнял, — как презерватив».

И в самом деле, ничего более Дмитрию Васильевичу не обламывалось. А передел и делёжка шли в бывшем Министерстве как перманентная революция, неостановимо… но без Дмитрия Васильевича, без него… Не предвиделось также и служебного роста, некуда было расти. Зарплата, правда, в связи с инфляциями чуть-чуть поднималась, так сказать, для блезира, но отдел сократили до трёх человек, потом, с уходом на пенсию Клары Терентьевны, до двух… И вот всучили, не спросясь, какого-то иногородца…

Помимо проявленной бестактности, если не сказать, наглости, сильно огорчало ещё и то, что всученный внедренец лишал Дмитрия Васильевича существенной прибыли в семейном бюджете. Тонкость вопроса тут заключалась в том, что отделу Балышева, а попросту говоря, именно ему, Дмитрию Васильевичу, была поручена предпечатная подготовка юбилейного тома, целиком и полностью посвящённого славной пятидесятилетней деятельности родного Министерства, ныне Корпорации. Работы, — объяснять не надо, какой ответственной и кропотливой, — навалилось невпроворот. Материалы, присылаемые с региональных подразделений, да и

московские, находились в ужасном состоянии. Редакторских же глаз и рук явно недоставало. И потому, заявив о необходимой поддержке, Дмитрий Васильевич, прежде всего, рассчитывал обрести в качестве таковой свою жену, Елизавету Викторовну, в добросовестности и профессионализме которой ни он, ни товарищ-начальник, нисколько не сомневались, ибо уж она-то, кандидат филологических наук, была по грамотности выше их обоих, хотя бы и вместе взятых.

И вот теперь этот доморощённый замысел рухнул, редактором-договорником стал Сахатов.

Почти тотчас же выяснилось, что необходимыми редакторскими навыками этот блатной договорник не обладает. Навскидку вычитывая якобы отредактированный им текст, Дмитрий Васильевич наткнулся с ходу на такие явные ляпы, что пришёл в оторопь и недоумение.

С правленым текстом, так сказать, с поличным в руках, он отправился к своему непосредственному начальнику. Тот, невозмутимо обозрев подчёркнутые красным фломастером места, посоветовал смириться и терпеть: «Сахатов, мол, это, считай, «нонешняя» номенклатура, так что выкручивайся, как знаешь».

Смиряться и терпеть Дмитрию Васильевичу было, конечно, не привыкать, равно как и выкручиваться, но обидно было зело и даже очень. Создавшееся критическое положение разрешилось при содействии всё той же Елизаветы Викторовны, давно уже рассматривающей службу Дмитрия Васильевича как дело первостатейной семейной важности, лишаться которого им, теперь уже почти старикам, было бы смерти подобно.

Она, само собой, вдосталь повозмущалась тем, что какой-то там иногородец, даже инородец, Сохатый, как она его мигом окрестила, будет получать предназначенные ей деньги, но редакторскую лямку потянула в полную силу и не без удовольствия, — видимо, соскучилась, бедняжка, по работе. А тут вскорости и начальник Балышева, — какой всё-таки молодчага! — сумел выбить из ещё большего начальника, чьим протеже являлся Сахатов, дополнительные средства на подготовку юбилейного тома. Таким образом и Елизавета Викторовна оказалась оплаченной, хотя и тут не обошлось без уловок, — договор заключили на её безработную подругу, иначе Елизавета Викторовна должна была бы лишаться так называемой «лужковской надбавки» к пенсии. Но это уже были привычные мелочи, химичили в рыночных временах не меньше, чем в пресловутые советские, — тогда хотя бы серую зарплату в белых конвертиках не выдавали, а уж о том, чтобы задерживать на неделю и речи не могло возникнуть. Теперь же задержки случались… правда, уже и не так регулярно, как в перестроечные и последефолтовские годы, но… Однако, как бы там ни было, а Дмитрий Васильевич перестал втуне и явно негодовать на бесполезный довесок в лице всученного Сахатова, который если чем и поражал его и Верочку, так это своей беспримерной усидчивостью и дисциплиной, — он даже с обеденного перерыва никогда не опаздывал, а уж на работу заявлялся либо раньше всех, либо минута в минуту, хоть часы на Спасской башне сверяй!

Особой общительностью большеголовый и бровастый Сахатов не отличался, и — слава Богу. Сидел, ино-

гда лишь негромко покашливая, в своём углу, водил «мышкой» по утло задранному с краёв пластмассовому коврику и пялился с отвислой нижней губой в свой жидкокристаллический монитор, тогда как у Балышева с Верочкой стояли ещё старые элтепэшники.

Дмитрий Васильевич беспощадно грузил договорника работой, чтоб не расслаблялся, но теперь уж за сахатовские ляпы нисколько не тревожился, — лучшего контрольного редактора, чем его свет Елизавета Викторовна, и желать было трудно — кандидат!

Но всё это, разумеется, нормализовалось далеко не сразу.

Впрочем, и с починкой «Ауди» тем далёким уже днём тоже ничего не заладилось, — полетел какой электронный блок, пришлось заказывать заграницей, ждать две недели, тащиться на буксире (всё того же непосредственного начальника, — дай Бог ему здоровья!) в автосервис.

И всё это время Дмитрий Васильевич без каких-либо приключений ездил в метро и, кстати заметить, добирался на работу и домой гораздо быстрее, чем прежде. Практичная Елизавета Викторовна из этого не преминула сделать вывод, что машину следовало бы поберечь, «другую, скорее всего, уж и не купим», и даже порекомендовала мужу пользоваться её пенсионной карточкой, с целью бесплатного проезда, что Дмитрием Васильевичем было с негодованием отвергнуто.

Мечтал ли он о встрече с той девушкой в метро? Смешно сказать…

У него с ней затеялось нечто вроде игры… под названием «Варианты знакомства». Например, он видел её на остановке троллейбуса и тормозил, и распахивал дверцу своей всё ещё шикарной «Ауди», приглашая…

Она настороженно улыбалась, качала головой и в шикарную его «Ауди» не шла…

Или он останавливал её на улице, придерживал осторожно и бережно за локоток…

Она с негодованием вырывалась, уходила… Негодование ей очень шло…

Был ещё вариант, в котором он вручал письмо…

Этот представлялся самым предпочтительным, поскольку конверт она заинтригованно брала…

Потом он одиноко сидел в чинном и тихом ресторане и терпеливо ждал…

Прелестным в этой истории было то, что письмо им не сочинялось, то есть никаких объяснений ни в его голове, ни в его сердце не существовало, равно как и на бумаге…

А она всё равно приходила… как будто понимала его без слов.

Время между тем стремительно летело, дело продвигалось, и настал час, когда все собранные и отредактированные материалы были досрочно сданы верстальщику, который под наблюдением Дмитрия Васильевича готовил из них так называемый оригинал-макет для сдачи его в типографию. Ответственейший этот процесс всякого рода сверок, исправлений, добавлений и ещё раз сверок и сверок требовал повышенного внимания, которого требовать от Сахатова Дмитрию

Васильевичу даже не приходило в голову. Он полностью предоставил его самому себе, уже одним тем, вроде бы, давая понять, что делать тому в их с Верочкой отделе больше нечего.

Сахатов, оставшись без работы, никак на предоставленную вольницу не реагировал, всё также восседал в своём углу, с рукой на «мышке», и чем он там занимался, никто не ведал.

«Порнушку смотрит», — обронила как-то Верочка, и, правда, из колонок Сахатова иной раз прорывались сладострастные стоны, тотчас, конечно, им поспешно заглушаемые.

Дмитрию Васильевичу, в общем-то, было уже всё равно, — контракт с Сахатовым кончался на следующей неделе, так что… пусть развлекается, коль охота…

Он даже намекнул Сахатову, что такого упорного высиживания от него не требуется, но получил в ответ лишь некий кивок, означающий, что Сахатов и без его подсказок положение своё сознаёт вполне.

Что ж, Дмитрий Васильевич оставил его в покое.

А дня через три вдруг обнаружил Верочку в слезах. Ей будто бы кто-то вякнул доверительно, — по Корпорации постоянно бродили страшные слухи о сокращениях, — что из отдела уволят не временного Сахатова, на тот момент в комнате отсутствующего, а её, постоянную и верную служащую, — Верочки было тридцать пять, и она уже девятый год пахала без разгиба (её выражение) на Корпорацию.

— Да чушь несусветная! — вскричал Дмитрий Васильевич! — И в голову не бери!

— А чего же он сидит-то? — всхлипывала Верочка. — Такие всегда своё высиживают! Вон, скоро всю обшивку насквозь протрёт!

Она показала на кресло Сахатова, действительно, с неэстетно продавленным кожзаменителем на сидении.

— У него же контракт ещё не кончился, — увещевал Балышев. — Уйдёт! Как миленький! А кресло… оно же ему от Клары Терентьевны досталось!

— Да! У Клары Терентьевны оно как новенькое было…

Тут дверь открылась, и вошёл Сахатов. Как и всегда, озабоченно и целеустремлённо, прошёл на своё место, сел, нашарил «мышку» и тотчас же вперился, шевеля бровями и кистью, в монитор. Нижняя губа его привычно отпала.

Балышев с Верочкой переглянулись, но ни о чём, разумеется, не спросили. А как спросишь-то? В лоб? Неинтеллигентно.

Дмитрий Васильевич, правда, на всякий случай справился у своего непосредственного начальника: мол, расставаться скоро с Сахатовым-то?

— А ты жалеешь? — рассмеялся начальник.

— Не то слово, — поддакнул Балышев. — Не знаю, как и переживу!

Но всё это, конечно, были шутки, сплетни, вздоры.

Однако и на скороувольняющегося Сахатов нисколько не походил.

И точно. За день до истечения контракта Дмитрия Васильевича позвали в высокий кабинет. Принимали его там сразу три начальника — Генеральный, его ка-

кой-то молодой Зам, из «маечников», и непосредственный. Генеральный отчего-то хотел понять, как оценивает работу Сахатова Дмитрий Васильевич. Непосредственный начальник скромно помалкивал, словно жалоб на Сахатова от Дмитрия Васильевича никогда не поступало. Зам, уставясь волоокими восточными глазами в стол, выжидательно и настороженно молчал, как, собственно говоря, и полагается протеже родственника или кем там ему Сахатов приходился. Вместе с тем он молчал и как-то полупрезрительно, словно не понимал, к чему это совещание, когда дело плёвое и практически уже решённое. А Дмитрий Васильевич не знал, что сказать. Правду? Но за исключением себя, — он это подкожно чувствовал, — правда о Сахатове была никому не нужна, включая и Генерального, который затеял это совещание лишь ради проформы, ради соблюдения некого политеса, давно уже вышедшего, как их пиджаки и галстуки, из корпоративной моды.

— Ну так что скажешь? — допытывался Генеральный.

Он тоже был из своих, из тех старых министерских «пиджаков с галстуками», которым решать при «маечниках», видимо, приходилось всё меньше и меньше. Как, впрочем, и жить…

Дмитрий Васильевич ответствовал:

— Да ничего. Опыта, конечно, маловато, но опыт — дело наживное.

Плечи Зама ощутимо опали, оторванный от стола взгляд отразил Дмитрию Васильевичу благодарность, правда, мгновенную, непроизвольную, потому как большего он, наверно, и не заслуживал. Непосредст-

венный начальник слегка заёрзал, но тоже — будто с облегчением. А Главный вздохнул и резюмировал:

— Значит, оставляем! — и Балышеву. — С расширением тебя!

Когда волнение в Дмитрии Васильевиче малопомалу улеглось, — сколько ж можно казнить себя за проявленное малодушие? — он утешительно отмахнулся: «Да пусть сидит! Завалю бумажками… Работы хватит!». Но перед женой вновь смалодушничал, сказал, что «Сохатого» навязали сверху. А что поделаешь? Номенклатура!

Сахатов, став полноправным штатным сотрудником, особой радости не проявил. Выставил, правда, торт, безкалорийный и довольно вкусный. Три дня пили с ним чай, а потом он кончился.

Но вот что странно. Когда Сахатов был временным, он Дмитрия Васильевича раздражал гораздо менее. Теперь же было даже неприятно смотреть в сахатовский угол у единственного окна, как будто сидело там не человеческое существо, а некое толстозадое, сопящее животное… бровастое, гладко зализанное, сальное… Чёрт знает, отчего так Дмитрию Васильевичу мнилось, но мерзкое чувство это день ото дня только усиливалось. Дмитрий Васильевич не знал, что делать и как с ним бороться. Не понимал, откуда вдруг в нём, в русском интеллигенте, истинном, если уж на то пошло, либерале-демократе, бралась эта неприязнь к человеку, в целом, ничего плохого ему не сделавшего.

Сахатов, кстати заметить, в худшую сторону не переменился. Скорее, наоборот. Был всё так же почти-

тельно вежлив, образцово дисциплинирован, наконец, прилежен! Ошибки допускал всё реже, и, в общем-то, Дмитрий Васильевич где-то уже признавался себе в том, что в отношении Сахатова особо не покривил, — набирался опыта парень, на лету всё схватывал! Ну, может, и не на лету… А чувство неприязни тем не менее не проходило. Даже успокоившаяся Верочка, часть работы которой перешло к Сахатову, вела себя с ним вполне дружелюбно, пыталась даже убедить его отказаться от зализанной причёски — «ведь когда естественно — то лучше!».

Но Сахатов причёски не менял. В довершении к ней завёл трёхдневную щетину, желая, наверно, походить на крутого мачо… небритого борова самаркандского розлива… Дмитрия Васильевича так и подмывало по-армейски — ша-а-гом марш! — направить его в парикмахерскую — вот до чего докатился!

Очень недовольный собой Дмитрий Васильевич обращался с Сахатовым безукоризненно вежливо и, разумеется, только на «вы». «Будьте добры», «пожалуйста», «не потрудитесь ли исправить ошибочку» — все эти и подобные им выражения в устах Дмитрия Васильевича были неизменны, но, как и всё чрезмерное, они лишь усугубляли его неприязнь к Сахатову. Иногда он ловил себя на мысли: «неужели я буду терпеть его всю жизнь?», — и накатывало прямо-таки какое-то истерическое отчаянье.

«Ох, как вы его не любите! — смеялась Верочка, когда, разумеется, Сахатова в комнате не было, и тут же дразнилась. — А зачем взяли, а?», — Дмитрий Васильевич сознался ей в проявленном малодушии.

Зачем?

Люди, как говорится, и почище его отступали пред этим двухсложным вопросом.

Впрочем, умненькая Верочка всё отлично понимала и, подразнив, тут же успокаивала:

— Да правильно вы всё сделали, не мучайтесь! Зато отношений не испортили.

Это было тоже верным. Зам «маечник» при нечастых встречах с Балышевым отмечал его особым взглядом, типа свой человек, с понятием, хотя и при галстуке.

Дмитрий Васильевич сознавал, что мучается не столько от самой неприязни, — чёрт бы с ней! — сколько оттого, что никак эту чёртову неприязнь преодолеть не может.

Не зная, что придумать, он решился узнать о Сахатове побольше, разговорить его, может, и проникнуться, обнаружив что-то, возможно, их объединяющее… ведь иногородники всё-таки, ёлы палы…

Но Сахатов на сближение не шёл, о себе не откровенничал… Да, видно, и рассказывать особенно было нечего!

Дмитрий Васильевич напротив же пускался в воспоминания детства, юности, полагая, что эти возрастные поры молодому Сахатову будут ближе, увлекался всплывающими подробностями, иногда даже довольно пикантными, остроумными, сакральными, увлекал ими Верочку… Но не Сахатова… который в лучшем случае лишь неопределённо хмыкал из своего угла.

Дмитрий Васильевич после этих излияний чувствовал себя круглым идиотом, — его похвальбушеские

россказни сослуживцу были напрочь неинтересны, как, наверное, и он сам.

Приходилось сие признавать… Впрочем, Дмитрию Васильевичу это сие было не внове. Родной сын, тридцатилетний почти Павел, ещё не обжененый, но уже живущий с дочкой каких-то харьковских нуворишей в её квартире, этим от Сахатова почти не отличался. О своей жизни практически ничего не рассказывал, отцом-матерью не интересовался вообще, и только время от времени, когда его, очевидно, уж совсем допекало, разражался язвительными тирадами, из которых чаще всего следовало, что всё-то его заботливые папочка и мамочка воспринимают и понимают не так. А как, как прикажете понимать и воспринимать, когда не без труда устроенный в Корпорацию, он через две недели самочинно из неё увольняется? Ему, видите ли, надоело бумажки подшивать. За двадцать-то тысяч рэ в месяц! А вот Сахатовым, извините, не надоедает! И годика через два, когда Дмитрия Васильевича могут запросто, по закону, турнуть на заслуженную пенсию, не исключена вероятность, что он займёт его место, в то время как родное чадо, скорее всего, так и будет искать клёевую и высокооплачиваемую работёнку, не понимая, что её заслужить надо, заслужить! Как, например, заслужил её он, Дмитрий Васильевич, в Министерство пристроенный тестем, — царствие ему за это небесное!

Думая о сыне и о современной, блин её возьми, молодёжи, Дмитрий Васильевич рассеянно попрощался с отпросившейся пораньше Верочкой и, взглянув на часы, решил всё-таки просмотреть фотографии, запоздало присланные по имейлу из регионального филиала, тоже

входящего материалами в юбилейный сборник, — вдруг что сгодится. Но сначала, разумеется, надлежало подвергнуть их антивирусной проверке, чтобы, не дай Бог, не подхватить какой-либо региональной заразы, однажды уже в компьютер Дмитрия Васильевича проникшей.

Запустив Доктор Web, Дмитрий Васильевич взглянул мельком в угол Сахатова и увидел, что и тот смотрит прямо на него.

— Что-нибудь нужно? — осведомился Балышев.

— Я это, — Сахатов засмущался, — спросить хотел… пока Верочки нет…

— Ну? — Дмитрий Васильевич поощрительно кивнул. — Спрашивайте!

— Вы, это, — Сахатов замялся, — к женщинам когда-нибудь ходили?

— К каким женщинам? — удивился Балышев.

— Да к этим, — Сахатов кивнул на монитор, — которые себя предлагают…

Что подняло Дмитрия Васильевича с места и заставило подойти к Сахатову, он не знал. Но что-то заставило, какое-то любопытство, хотя уж чем-чем, а порнухой-то из интернета его удивить никак было нельзя — полюбопытствовал в своё время, когда она была ещё в диковинку, и теперь был её решительным и ярым противником, — мерзость и растление!

Но в кивке Сахатова на экран словно бы прозвучала просьба «заценить», как он и Верочка иногда выражались, сделанный им выбор, и вот это-то Дмитрия Васильевича почему-то и заинтриговало.

«Кого же он выбрал?» — с этой мыслью Дмитрий Васильевич заинтересовано взглянул на монитор и обмер. На экране была она, девушка из метрополитена.

— Триста баксов за час, — слышался словно бы издалека голос Сахатова. — Дороговато вообще-то!

Девушка лежала на животе. Она была обнажёна абсолютно. Но, кроме изящно выгнутой спины, безупречно гладких бёдер и, что скрывать, волнующе очерченного рельефного зада, ничего более не показывала. Однако тронутая стрелкой сахатовской «мышки» она начала замедленно приподниматься, обнажая долгие начала грудей, низ живота… Вдруг… движение неуловимо ускорилось, и девушка одним махом обрела сидячее положение.

За перекрещенными руками и ногами, промелькнули в мгновение ока и розовые соски грудей и чёрная промежность… Или… так показалось?..

— Как заманивает-то, а?! — восхищённо басил Сахатов, рассматривая её со всех сторон. — Фотошопиком, конечно, поработали, но вроде бы и сама ещё ничё, не затасканная… А?

Девушка серьёзно и прямо смотрела на Дмитрия Васильевича, взгляд её проникал в самую его душу и высверливал там чёрную, горько зудящую дырку, доходил до дна и прорывал её насквозь, навылет. Так удручающе плохо Дмитрию Васильевичу ещё никогда в жизни не было. Никогда ещё ощущение собственной ничтожности не поражало его с такой сокрушительной безысходностью и отчаяньем.

Он молча вернулся на своё место.

— Я чего боюсь-то? — вопрошал Сахатов. — Во-первых, спид, конечно, а во-вторых, как бы на бабки не кинули. Собственные апартаменты! — хмыкал он, видимо, вникая в тему предложений поглубже. — Ууу!.. За ночь, вообще, тыщу баксов просит… Охренеть! Да за такие бабки десятерых отыметь можно… не хуже… Вы как думаете?

— На работе работать нужно, — отозвался, как сомнамбула, Балышев.

— Да я ж работаю! Она сама вылезла… О! Вот и раскрылася вся… Вся как эта… Поглядите!..

И Сахатов повернул экран к Дмитрию Васильевичу, — Верочки же в кабинете не было.

«Я его сейчас прибью, — думал Дмитрий Васильевич. — Подойду и этим же монитором по башке зализанной!»…

Но башка Сахатова, разумеется, осталась нетронутой.

Антивирус исследовал файлы, всё было чисто, но просматривать фотографии Дмитрий Васильевич не стал. Он вообще не мог ничего делать, просто сидел и тупо смотрел, как в аквариуме на экране плавают среди затонувших древних развалин, вьющихся трав и бурлящих пузырьков поднимающегося на поверхность воздуха цифровые, красочные рыбки.

Кончился рабочий день. И, как только шаги покинувшего рабочее место Сахатова отдалились к лифтовой площадке, Дмитрий Васильевич подхватил своё кресло и понёс его в ненавистный угол.

Продавленное толстым задом кресло Сахатова было отброшено ногой. В буквальном смысле. Оно валялось на полу как поверженный соперник, разлапистый треногой в бок и кверху, а старший менеджер Дмитрий Васильевич Балышев включал и грузил сахатовский компьютер, запускал браузер и открывал в журнале посещений последние страницы сайта…

Вот она!

Это без сомнения была она…

Неземное создание, девушка его мечты, любви, вдохновения…

Теперь Дмитрий Васильевич лицезрел её такой, какой, в общем-то, не мечтал и не хотел видеть. Ему не было стыдно за её наготу. Ему даже понравилось, как она вела себя на своём рабочем сайте… Расковано, профессионально! Однако он пытливо вглядывался в её лицо, — ни тени смущения, ни горечи, ни печали…

Тысяча долларов!

Дмитрий Васильевич, положим, уже сегодня мог бы втихаря добраться до неприкосновенного запаса, — когда-то ещё Елизавета Викторовна хватится проверить, — и уже на ближайший уик-энд отвезти Юлию, если это её настоящее имя, в какое-нибудь исторически культурное место, скажем, в Архангельское или куда-то ещё, — предлагаемые ею апартаменты ему решительно не подходили. И там, в непринуждённой, культурной обстановке…

«Девочка моя!»…

Когда-то он поинтересовался, у Елизаветы Викторовны, кто был до него, и получил ответ:

— Да один полный кретин! И я была полная кретинка… Не думай об этом!

Он и не думал.

В этой неизбежной сексуальной сфере по молодости всё кретины…

Но чтобы со всеми… За деньги…

И, главное, зачем, зачем?! Когда она может осчастливить любого!

«А он меня?» — словно вопрошала девушка с экрана.

Тысяча долларов!

Вот в этом-то и состояла сверхзадача. Внушить ей, что счастье в её руках, что она сама должна его найти, сама и выбрать… Сама!

Но не таким же примитивным способом…

Тебе же это не нравится… Девочка моя… Не может нравится!

Или — да? Наоборот?

Тогда повалить её, наглую, на гостиничную постель, сорвать одежды, подмять под себя… И насладиться…

О-о-о!..

Как же доказать, что ты самый лучший?

Что я — твой, а ты — моя! Идеал, судьба, счастье…

Дмитрий Васильевич понимал, что бредит… Что ничего, из того, что приходит ему в голову, по сути своей неисполнимо. Кроме, пожалуй, одного — стать её одноразовым клиентом… А после, может, и убить…

Но и это был бред.

Он не хотел её убивать, он не хотел её и как женщину!

«У неё ведь, наверное, есть родители, — думал он, — она же молодая… Возможно, помогает им… Они прозябают в глухой провинции, где нет работы, не хватает еды, нужны лекарства…

Но чем же, чем он может помочь ей? У него свои старики… неустроенный сын… жена, запуганная телевизором… И у него нет тысячей… Нету и тысячи ночей, чтобы уговорить её, убедить, поставить на путь истинный… Он такой старый… И уж одного только этого непреложного обстоятельства нельзя изменить никакими силами, мольбами и воплями…

И самое лучшее — это забыть её. Навсегда!

Вот она!

И вот её нет!

Он свернул в трей окно браузера, — раскинулся под синим небом зелёный холм фоновой заставки Windows XP.

Значит, смирись и терпи?

Смирись, смирись, гордый человек! Позволь её ласкать Сахатову… всем другим, кто, говоря по-нынешнему, разжился на бабки…

Боже мой!..

Дмитрий Васильевич вновь восстановил окно, вновь обозрел появившуюся в нём нагую проститутку Юлию.

Единственное, что он мог сделать и сделает, это удалить её страницу из сахатовского компьютера… Больше он ничего не может, ничего…

Он уже потащился «мышкой» в «закладки», чтобы произвести задуманную операцию, как дверь вдруг неожиданно распахнулась и вошли Зам и Сахатов.

Они тоже не ожидали его увидеть и уж, в любом случае, застать на сахатовском месте…

Дмитрий Васильевич обмер.

— А это почему валяется? — шагнувший к нему Зам одной рукой поставил опрокинутое кресло на лапы.

Дмитрий Васильевич неуверенно поднялся…

— Я тут…

И потащил своё кресло к себе…

— Вы её смотрите, да?! — Сахатов с радостным изумлением показал Заму пальцем на обнажённую Юлию.

Тому сразу всё стало ясно, настороженность испарилась, он по-свойски хмыкнул:

— Интересуемся потихоньку, да?

Ответа не ждал. Пригнулся к экрану, оценивал, прикидывал — товар же!

— Ну, что ж… В натуре, конечно, похуже будет, — авторитетно заявил он, выпрямляясь, и повернулся к Балышеву. — Хотите подарок?

Дмитрий Васильевич не сразу понял, что вопрос обращён к нему.

— Мы вам обязаны, — продолжал Зам, решительно вынимая портмоне из внутреннего бокового кармана, а из портмоне три стодолларовые купюры. Протягивая деньги Дмитрию Васильевичу, он одновременно адресовался к Сахатову:

— А ты, Максик, потом сходишь. После начальника.

Сахатов согласно закивал своей большой, зализанной головой:

— Конечно, конечно! — Максик был абсолютно искренен, — вот что значит восточное воспитание. — Идите! А я за вами…

— Ну? — Зам радушно тянул деньги.

— Да вы что? — Дмитрий Васильевич, задохнувшись, ощутимо почувствовал, как пунцово загорелось, словно задымило, его собственное лицо. — Я убрать хотел!.. На рабочем месте!.. Порнуха!.. Позор!..

Изо рта Дмитрия Васильевича, — он это с ужасом чувствовал, — брызгали слюни.

— А-а, — коротко вник Зам. — Понял! — И словно стрелу строительного крана повёл руку с деньгами в сторону Сахатова. — Значит, Максик пойдёт!

Сахатов, растерянно глядя на Балышева, принял деньги, машинальными пальцами развеерил их на три листика, собрал воедино…

— Пошли! — Зам хлопнул его, вздрогнувшего, по плечу, и, недоверчиво крутя головой и ухмыляясь, зашагал вон.

— Сами выключите? — спросил Сахатов о своём компьютере, но ответа ждать не стал.

Дмитрий Васильевич медленно опустился в своё кресло.

В этом кабинете с высокими потолками и гладкими стенами прошли пять лет его жизни… В другом, ничем от этого неотличимом, ещё сколько-то и ещё… Тридцать лет… верой и правдой… в этой казённой, стеклобетонной башне… на одном месте…

Боже мой, боже мой!..

Дмитрий Васильевич не помнил, как добрался домой. Нет, никаких аварийных ситуаций не возникало.

Покорно стоял в пробках, покорно ускорялся на свободных участках, сбрасывал газ, поворачивал, тормозил, переключался, как, в сущности, и подобает профессиональному водителю, доведшему свои навыки до полного автоматизма.

По радиоканалу «Орфей», как и всегда, звучала симфоническая музыка, но сердце сжималось и стонало само по себе. Страстно хотелось сделать что-нибудь хорошее, безусловно нужное. Но что? Что?

Юбилейный сборник получился юбилейным. Одни трудовые успехи, победы, достижения… невзирая на тяготы, лишения, препятствия…

За словами пряталась жизнь…

Жизнь! Жизнь!

Сахатов мог уже быть у Юлии, мог быть уже с нею… Он и она… Балышев не состояние был этого даже представить, а между тем это была реальность — доступная женщина, валютная дрянь… идеал с порносайта…

К двери подъезда одновременно с Балышевым подоспели соседская девочка Таня, и незнакомый мальчик, оба в тинейджерских майках, джинсах, кроссовках. Покосившись на Дмитрия Васильевича, уже приоткрывшего и придерживающего для юной соседки дверь, мальчик чмокнул неловко Таню в щёку и тотчас упорхнул, словно испугавшийся воробышек. Она радостно зарделась, но постаралась сделать вид, что приняла поцелуй как взрослая.

В тесном лифте Дмитрий Васильевич против обыкновения молчал, хотя прежде всегда о чём-то заговаривал, — из вежливости…

На лестничной площадке распрощались краткими полуулыбками и кивками… Таня пошла к себе, направо, Дмитрий Васильевич — налево… Он знал эту девочку совсем маленькой…

Боже мой!.. Боже мой!..

Дверь открыл сын. Оказалось, что он приехал за какими-то своими вещами, чтобы перевезти их на «дочкину квартиру», — так старшие Балышевы называли жильё сына. Девицу они имели счастье видеть и, в принципе, против ничего не имели, — мила, неглупа, студентка, — но вот то, что она не спешила знакомить их со своими родителями, тоже вслед за дочкой перебравшимися в Москву, Елизавету Викторовну неприятно задевало. «Живёте, как муж и жена», — выговаривала она сыну, — ты им представлен… А мы что же?

— А вы ничтоже! — каламбурил сын, выросший как-никак в семье филологов.

Теперь он с порога объявил, что очень не возражал бы, если бы батяня, — так он почему-то стал года три тому назад величать Дмитрия Васильевича, — избавил бы его от таскания с чемоданами в общественном транспорте…

А батяне вдруг страшно захотелось водки, причём полный стакан… который он, молча пройдя в кухню, наполнил (достав бутылку из холодильника) до краёв и опустошил прямо на глазах у остолбеневших жены и сына.

— Что это значит? — спросила обретшая дар речи Елизавета Викторовна, когда муж поставил опустошённый стакан на стол.

— Ничего.

— Но я же вижу! — И с ужасом догадалась. — Тебя уволили?!

— Ха-ха!

Дмитрий Васильевич прошёл в гостиную, уселся в кресло.

Родные ринулись следом и встали перед ним, как замерзшие по тревоге суслики. Ждали объяснений. Иначе, зачем водка? Стакан?!

А Дмитрий Васильевич молчал, усваивая горячо разворачивавшийся внутри себя алкоголь.

— Почему ты не раздеваешься? — спрашивала потерявшаяся вконец жена.

— Устал.

— Но к чему же, дорогой мой, такая демонстрация? — не отставала Елизавета Викторовна, неуверенно воспроизводя мужнин жест с опорожнением стакана.

— Потому что первомай скоро! — брякнул Дмитрий Васильевич и приказал. — Неси лучше деньги!

В нём что-то переключилось, и пришло ясное решение — поговорить! А там — будь что будет!

— Господи! — Елизавета Викторовна прочла эту решимость в глазах мужа и у неё мелко затряслись руки. — Ты попал в аварию! Бандиты, да?

— Иномарка? — с неподдельным, живым интересом подсунулся сбоку сын. —Какая, бать?

— Сивый мерин! — шутка тоже была из разряда первомайской, но и она прошла как по маслу.

Елизавета Петровна, метнувшаяся за деньгами, остановилась в двери, спросила дрогнувшим голосом…

— Все нести? Или… Сколько?

Дмитрий Васильевич сжалился.

— Тысячу…

— Ого! — сказал сын. — У вас, оказывается, тысячи водятся!

А Елизавете Викторовне чуточку полегчало, лицо разгладилось, посветлело — оставалось на чёрный день в заначке, оставалось!

Она удалилась.

Сын продолжал интересоваться: сильно ли побита своя машина, как да чего вышло? Ему было страшно интересно.

Дмитрий Васильевич не отвечал, смотрел на него и вспоминал контактный телефон… Там ещё перечислялись разные услуги… от секса «классика» до неведомого ему «золотого дождя»… Сыну, наверняка, известного… Они ведь теперь все сексуально подкованные, раскрепощённые… в отличие от них, «пиджаков с галстуками», которых подковать и раскрепостить не успели… Кстати, надо бы переодеться… Последние две цифры вызывали сомнение, то ли сорок шесть, то ли шестьдесят четыре… Впрочем, это не имело значения, он почему-то был уверен, что непременно отыщет её… Юлию… Или как там она по-настоящему прозывается…

Дмитрий Васильевич развязал и вытащил из-под воротника галстук…

— Как поживаешь-то? — спросил он вдруг сына, чем озадачил его до крайности.

На этот вопрос автоматически ответила появившаяся с деньгами в руках Елизавета Викторовна.

— Как? Альфонс! За счёт её родителей живёт!

Сын что-то забурчал, типа того, «что же делать, если свои родители счёта не имеют», но его никто не слушал. Верная жена подавала мужу аккуратной стопочкой сложенные сотенные купюры, предупреждала:

— Ты уж не нервничай там сильно… Главное, невредимый, живой, — она, склонившись, поправила мужу скособоченный воротник рубашки, выпрямилась, осудила. — А вот, что выпил, так это совершенно зря… От водки ты дурной делаешься!

— Я и без водки дурной, — Дмитрий Васильевич, взял деньги, поднялся, — надо было спешить.

Елизавета Викторовна, не переставая соболезновать и одновременно инструктировать, вознамерилась отрядить с отцом и сына, так сказать, на всякий случай, и сын был согласен — «погнали, батя!» — даже предлагала на худой конец взять себя, — «вот только голова, жаль, не мыта…», — но никакой помощи Дмитрию Васильевичу не требовалось.

Отмахиваясь от сыновних вопросов про «сильно ль разбиты тачки», — «потом, потом!» — он покинул родноё семейство.

На улице его охватили сомнения:

«Ну, куда, в самом деле, зачем?!»

Обуреваемый неуверенностью он сел в «Ауди». Почему-то на пассажирское место. «Потому что, выпивши, за руль не садятся, — замедленно догадался он. — Значит, точно, дурею!». Хмель, и правда, бросал его в дурноту, слегка подташнивало, но надо было действовать, и он доставал свою старенькую Нокию, набирал, с четвёрткой и шестёркой на конце, запомнившийся контактный номер.

Ответили сразу.

— Я хотел бы встретиться с Юлией, — сказал он как можно твёрже. — Это возможно?

От нахлынувшей робости у него перехватило дыхание. «Как мальчишка», — подумал он, а в трубке, между тем, нежно-чарующим голосом, осведомлялись, в какой день и на какое время господину хотелось бы…

— Хотелось бы сегодня, — отчего-то млея, сказал он и прибавил суровости. — И как можно скорее!

Но оказалось, что, к сожалению, ни сегодня, ни даже завтра и послезавтра встретиться с Юлией было невозможно — запись.

— Даже за тыщу долларов? — грубо поразился он.

Возникла вежливая пауза, после чего весьма доброжелательно поинтересовались:

— Господину хотелось бы именно с Юлией? У нас есть и другие… тоже очень достойные девушки… И подешевле…

Продолжать разговор не имело смысла, но Дмитрий Васильевич всё-таки спросил:

— Так вы не Юля?

— Я — менеджер. И, знаете что, — Дмитрий Васильевич ощутил, что к нему прониклись особым доверием, — я могу предложить вам Танечку… Она, можно сказать, дебютантка… Вы будете практически первым…

Дмитрий Васильевич отключился, не попрощавшись.

«Какая-то дебютантка, — рассеянно думал он. — Глупо как всё!»…

Оставалось идти домой, объясняться с женой, с сыном… пилить на работу… видеться там с Сахатовым, с Замом… да хоть с той же Верочкой…

Тоска, тоска!

Не утешала даже мысль о Сахатове, выразившаяся в несвойственной Дмитрию Васильевичу расистской редакции: «значит, и Максику, Максуду, блин, Юсуповичу, тоже не обломится!»...

К Дмитрию Васильевичу сворачивал заприметивший его через лобовое стекло сосед Володя, по дворовому прозвищу Деловар. Пришлось открывать дверцу, вылезать, здороваться.

— Как оно ничего? — спрашивал Володя, ласково задерживая в своих ладонях руку Балышева. — Служится?

— Выпить не хочешь? — вместо ответа предложил Балышев.

— Сегодня, ну, никак не могу! — мгновенно отреагировал сосед, с которым они вообще никогда в жизни не выпивали. — Давай завтра! — и, вновь наделив Дмитрия Васильевича прощальным рукопожатием, Володя-Деловар бодро зашагал к своему подъезду.

«Так тебе и надо!», — то ли о себе, то ли о Володе подумал Балышев. Поставил машину на сигнализацию и пошёл со двора.

Ближайшее кафе находилось на углу соседнего дома. Под зелёными грибками-тентами, с рекламными надписями «Пиво Балтика», пили, курили и ели. Дмитрий Васильевич вступил на деревянный помост, направился к свободному столику. Но его продвижение оста-

новил телефон, оживший в кармане моцартовской серенадой, — Дмитрию Васильевичу всякий раз было немного жаль обрывать её. Оказалось, что вышедший с чемоданами сын, увидел на стояночном месте абсолютно целёхонькую «Ауди», и теперь Елизавета Викторовна, которой он, естественно, не преминул позвонить, — «мне почему-то нет!» — успел оскорбиться Балышев, — крайне недоумевала:

— Если наша машина цела, то где же ты сам, Димочка? С деньгами… И что мне прикажешь по этому поводу думать?

Дмитрий Васильевич вдруг ужасно разозлился:

«Что, чёрт возьми, за надзор? Разве он мальчишка?»

Но гнев так и остался не выплеснутым, — перед Дмитрием Васильевичем стояла молодая, коренастая и крепконогая официантка в зелёном переднике «Пиво Балтика» и, фирменно улыбаясь, приглашала картой меню к столику, им уже и облюбованному.

— Потом всё объясню. Потом! — резко бросил Дмитрий Васильевич жене в трубку и, отсоединившись, спросил:

— Имею я право отдохнуть?

— Бе-зу-словно! — нараспев выдохнула официантка.

Дмитрию Васильевичу так по душе пришёлся этот мгновенный ответ, что захотелось обнять её, крепко, потоварищески. Но он, конечно же, сдержался. Глуша поднимавшееся раскаянье перед женой, действительно, наверное, сходившей с ума от неведенья, сел за столик и заказал кружку светлой «Балтики».

«Для начала!» — веско сказал он.

Официантка понимающе кивнула и на крепких своих трудовых ногах удалилась исполнять заказ к бару.

«Тоже ведь обслуживает, — подумал о ней Дмитрий Васильевич. — Интересно, согласилась бы она за тысячу?»

С этой мыслью он осмотрел кафе, точнее сидящих в нём женщин. Таковых было немного: одна, крашенная блондинка, возбуждёно кайфовала среди трёх мужчин, заглушая их голоса своими нарочито громкими междометиями и вульгарным смехом; другая, на вид явная феминистка, тянула своё пиво в гордом одиночестве и в надежде хоть на чьё-то внимание; две девицы справа, тоже с сигаретами и пивом, чем-то напомнили Дмитрию Васильевичу тех подружек, которые попользовались им на даче у архитекторов.

«Согласились бы все!» — решил однозначно Дмитрий Васильевич. — Как миленькие!

Официантка принесла пиво, поставила светло-жёлтую и поверху вспенённую кружку на пластмассовый фирменный кружочек-подставку и ушла, пожелав приятного вечера.

Дмитрий Васильевич не спеша отхлебнул пиво, откинулся на полотняную спинку складного кресла — давненько он не сидел вот так… «А ведь есть, наверно, смысл иногда позволить… расслабиться…»… Он сделал ещё один большой глоток и, подняв вверх ополовиненную кружку, показал её официанте, скоро кончится, мол…

Та понимающе закрыла и открыла глаза.

«А может, и не согласилась бы», — подумал про неё Дмитрий Васильевич, и ему захотелось, чтобы так оно и было.

«Ведь живёт же, работает!»

Он мягко, снизу, улыбнулся ей, ставившей перед ним новую полную кружку. Она, забирая опустошённую, ободряюще улыбнулась ему сверху.

«Не согласилась бы! — решил он окончательно. — И та могла бы… честно работать и жить. Ещё как могла бы! Конечно, не со мной, старым, в сущности, неудачником… но, например, с сыном… Павлу совсем необязательно знать о её сегодняшнем прошлом… Жили бы вместе с нами, — плыл он мечтами. — Я бы каждый день её видел… И это было бы счастьем… Счастьем!»

На улице начал накрапывать дождик, капли падали вразнобой, стучали по тенту, пятнали асфальт, пугали пешеходов, задиравших головы в нахохлившееся небо. Кто-то предусмотрительный уже доставал и распускал разноцветные зонтики…

Ужасно не хотелось врать жене, но ничего вразумительного в голову не приходило, а правда была невозможной, пошлой и даже не смешной… Дмитрий Васильевич и сам, пожалуй, расскажи ему кто про нечто подобное, вспомнил бы и о моче в голову, и о бесе в ребро, и о песенке Высоцкого про девушку белую, которая, — как там? — готова была отдаться по сходной цене обоготворившему её уркагану…

Краем тротуара шла на высоких каблуках Танечка… Дмитрий Васильевич признал её не сразу. На ней была

белая шапочка-парик с множеством мелко завитых, чёрных косичек… С оголённых подростковых плеч невесомо свисало короткое, бежевое платье на тонких бретельках, по сути, комбинашка, сквозь которую зримо протаивали овалы нежной, ещё не вполне развитой груди… Куда она шла? Одна… Без мальчика, неловко чмокнувшего её в щёку…

Дмитрий Васильевич долго смотрел ей вслед… Лето кончалось, день неуклонно темнел, и до вывоза из типографии юбилейного тома об отпуске нечего было и думать. А хорошо бы уехать… Куда-нибудь далеко-далеко… К какому-нибудь тихому океану-морю…

Вновь заиграл мобильный. По высветившемуся на дисплее номеру Дмитрий Васильевич почти догадался, что звонят от Юлии… Коллега по должности, менеджер…

— Простите за беспокойство, — сказала она. — Хотелось бы уточнить… Господин ещё не определился насчёт Танечки?

— Определился, — встрепенулся вдруг Балышев. — Да!

Никакого чёткого плана у Дмитрия Васильевича не было, просто показалось с пьяна, что там, на месте, он уж действительно определится.

Через три дня его обнаружили в травматологической больнице на окраине Москвы. У него было сотрясение мозга, перебита переносица, отчего лицо превратилось в один сплошной красно-лиловый синяк. Говорить Дмитрий Васильевич не мог, да и перепуганная насмерть Елизавета Викторовна ни о чём его не расспрашивала — живой и, слава Богу!

Дмитрий Васильевич, наверное, и сам так думал. Впрочем, кто знает, о чём он думал? О том, что приключилось с ним в эти дни, он никому и никогда не рассказывал.

2008 г.